

### 3.2. Патриотизм

#### *как литературно-общественная позиция*

**Что такое патриотизм?** Использование зарубежных литературных источников в качестве материала для научного и литературного освоения России — это, несомненно, основная движущая сила в непрерывном русско-французском имагологическом диалоге. В процессе национальной самооценки интерес к *чужой* позиции совершенно закономерен и в большей или меньшей мере присущ всей русской литературе без исключения авторов и направлений.

Как мы уже продемонстрировали, *чужой* материал о России воспринимался русской литературой, осмыслялся и подвергался проверке. В идеале подтвержденная часть этого материала должна бы усваиваться русской литературой как истина, а неподтвержденная — отметаться как информация попросту бесполез-

ная. Но мы уже неоднократно сталкивались со случаями, когда один и тот же текст французской литературы одними российскими авторами воспринимался как непреложная истина, а другими — разоблачался как заведомая ложь; у одних литераторов не вызывал активной реакции, а для других — являлся поводом для создания текста «ответной рецепции». Понятно, что подобное несоответствие объясняется, в первую очередь, разностью представлений российских авторов о России. Но только ли этим? И не важно ли для нас, чем же было обусловлено различие представлений о России среди русских?

Показателен такой эпизод. В последние годы жизни А. И. Герцен весьма тесно контактировал с жившим за границей русским философом-позитивистом Г. Н. Вырубовым. Их солидарность во многих идеологических вопросах не может вызывать сомнений. Однако в отношении к России Вырубов и Герцен заняли прямо противоположные позиции. В августе 1869 г. Герцен жаловался Огареву: «Он, то есть Вырубов просто ненавидит все русское и унижает в глазах французов» [128, с. 408]. Вырубов, в свою очередь, не мог понять привязанность эмигранта Герцена к России и писал в своих воспоминаниях: «Когда я посетил Герцена в Лозанне, мне показалось, что его своеобразный патриотизм, поразивший меня при первом знакомстве в прошлом году, дошел до апогея; в этом направлении дальше нельзя было идти. Он хотел теперь, — как выразился он в русском прибавлении к первому номеру французского “Колокола”, — говорить не с Россией, а о России; он хотел учить Запад <...>. Он глубоко обижался тем, что западные деятели не восторгаются русской культурой, русским первобытным коммунизмом, что они смотрят на нас хотя и снисходительно, но все же свысока» [109, с. 291].

Чем объяснить столь неожиданное противостояние между идеологическими соратниками? Разумеется, объяснить его можно неодинаковыми итогами в осмыслении фактов российской жизни. Но не стоит ли нам довериться самим авторам, которые, как видим, искали природу своих разногласий не в разности *знаний* о России, а в разности *чувств*, возбуждаемых Россией: «ненависть» — с одной стороны, и «своеобразный патриотизм» — с другой?

Кажется, одного этого случая достаточно, чтобы рассматривать возбуждаемые отечеством чувства в качестве важного мотива, способного определять направление и интенсивность «ответной рецепции». А подобных ситуаций в русской литературе

великое множество. Воздействие эмоционального начала на межнациональную рецепцию мы обнаруживаем не только в литературе и не только в XIX в., оно бросается в глаза и в современной культурной, политической, повседневной жизни. Более того, на повседневном уровне оно, как правило, воспринимается нами как явление вполне естественное и неизбежное. Ведь сколько бы мы ни были осведомлены о недостатках своего отечества и раздражены ими, мы далеко не всегда стремимся обнаруживать эти недостатки перед *чужим* наблюдателем, и обратно — даже если достоинства нашего отечества представляют собой факты редкие или случайные, мы вовсе не избегаем пользоваться ими для поддержания национального престижа.

Порою выражение подобной национальной щепетильности даже приобретает причудливо-утрированные формы. Так бывает ныне, и так бывало в ту эпоху, которая нас в данном случае интересует. Например, в 1847 г. «Современник» обращал внимание читателей на статью анонимного автора «О средствах к уменьшению преступлений». В статье между прочим говорилось, что «заводить “покаятельные тюрьмы” в России не нужно, потому что у нас есть Сибирь “огромная и превосходная темница, служащая или, по крайней мере, долженствующая быть предметом зависти других государств”». «Современник» замечал по этому поводу: «Что Сибирь страна богатая, обильная золотом и всякими дарами природы, то известно каждому, но что край этот самой натурою устроен наподобие образцовой тюрьмы, лучше всякой филадельфийской или ньюгетской — мысль новая и оригинальная...» [487, с. 252]. Для русской литературы середины XIX в. этот иронический отзыв «Современника» характернее, нежели патриотическое самохвалство рецензированного автора. Подобные дифирамбы чаще вызывали насмешки и раздражение, нежели ласкали национальное самолюбие, а в целом в русской литературе (конечно, если она была ориентирована на отечественного, а не на заграничного читателя) прочно укрепилось критическое отношение к российской действительности.

Время показало, что в кризисные моменты истории российское общество весьма легко и даже с азартом увлекается построением самобичевания и покаяния. Но верно и то, что эти периоды, во-первых, не слишком долговременны, а во-вторых, как правило, завершаются столь же горячим общественным отречением от порывов самоуничужения, от недавнего желания «пред-

ставить миру язвы своего отечества». Вот пример подобного осуждения российского «самобичевания»: «Нас, русских, сыздавна упрекают в том, — замечал брат революционера Павел Бакунин, — что мы своего родного не любим, и вместо того, чтобы отстаивать его от поклепов и нападков иноземцев, сами больше всех ругаем его. Иноземцы — те любят свое отечество, стоят за него, и похваляются им, а мы, не жаля доброй славы нашей родины, наперерыв друг перед другом спешим изобличить и выставить напоказ все сокровенные язвы ее; у нас даже целая изобличительная литература возникла» [36, с. 69]. То, что без самокритики общество не может сохраниться здоровым и развиваться, — дело ясное. То, что эта самокритика неизбежно становится известна посторонним, — дело почти неизбежное. И все же, хотя российская жизнь первой половины XIX в. постоянно побуждала общество критически смотреть на себя и свою страну, — несмотря на это, и русским обществом, и русской литературой всегда руководило стремление сохранить перед лицом заграницы пусть даже видимость гордой осанки. Эта психологическая и, мы бы сказали, литературная закономерность была афористически сформулирована А. С. Пушкиным: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство» [442, т.13, с. 280].

Кстати, подобного рода наблюдения оставил и А. С. Хомяков: «Современную Россию мы видим: она нас и радует и теснит; об ней мы можем говорить с гордостью иностранцам, а иногда совестимся говорить даже с своими <...>» [546, т. 1, с. 459]. Любопытно в этом отношении и замечание *стороннего* наблюдателя — Жозефа де Местра. В 1813 г. он писал королю Виктору Эммануилу I: «Русские лучше, чем кто-либо, видят собственные свои пороки, но менее всех других терпят указания на оные» [308, с. 240].

Все равно, как мы назовем этот феномен: проявлением патриотизма, национальной гордости или национальной щепетильности. Важно то, что мы имеем дело с явлением эмоциональным, субъективным, а значит — трудно постижимым с точки зрения объективной науки. Тем не менее сомнений быть не может — явление это активно проявлялось в сфере русско-французского имагологического диалога и должно быть нами рассмотрено.

Когда речь идет о строго научных или даже стереотипных общественных, обыденных представлениях о России, мы можем (хотя порою с большим трудом) разделить их на две категории:

ложные представления и истинные. Свои выводы в данном случае мы должны и, как правило, можем подтвердить фактами. Но можем ли мы использовать столь же четкое разделение в области человеческих чувств и эмоций? Можем ли мы с абсолютной уверенностью отличить искреннее чувство от поддельного? Провести четкую грань между чувством, ощущением, настроением человека и его убеждением, основанным на логике и фактах? Способна ли вообще классическая наука (в данном случае филология) анализировать конкретные проявления индивидуальных эмоций и создавать на этом основании масштабные обобщения? Оставим эти вопросы на случай философских досугов, а сейчас обратим внимание на то, что русская литература первой половины XIX в. как раз таки и стремилась выработать некие формулы, определяющие и «дифференцирующие» чувства, которые человек испытывает к отечеству. И более того, русская литература зачастую стремилась выяснять, каким образом эти чувства влияют на российский текст «ответной рецепции».

Начнем с определений. «Патриотизм — любовь к отчизне» [160, т. 3, с. 25] — такое толкование предлагает В. Даль. С таким толкованием, вероятно, согласится любой из наших современников, как с ним, наверняка, соглашался любой современник самого В. Даля. Но, кажется, этим однозначность в понимании проблемы и исчерпывается. Во-первых, если есть любовь к отчизне, значит, существует и *нелюбовь*, *равнодушие*, *ненависть к отчизне*. Но для этих чувств русский язык не имеет специальных, не окрашенных эмоционально дефиниций. Во-вторых, в отличие, скажем, от *равнодушия* или *ненависти*, любовь к отечеству (как и любовь вообще) представляет собой явление чрезвычайно сложное, многоликое и неповторимо индивидуальное. Например, нам понятно, что Рим любили и Брут, и Цезарь. Но ведь понятно нам и то, что любили они Рим по-разному. Можно ли найти адекватные обозначения этих похожих, но все же разных форм патриотизма?

В литературоведении осуществлялись попытки рассмотреть русскую литературу исключительно с точки зрения ее патриотической направленности. Патриотизм зачастую рассматривался в них как некая данность, не нуждающаяся в специальных пояснениях и не предполагающая внутренней противоречивости. Это неизбежно вело к схематизму видения предмета. Так, А. Еголин в работе «Освободительные и патриотические идеи русской литературы XIX в.» тем прямо открывал свои рассуждения, что, «начиная с

<...> творца “Слова о полку Игореве” все видные писатели России — пламенные патриоты» [192, с. 7]. Сделаем скидку на то, что книга Еголина публиковалась в Ленинграде (!) в 1946 г. (!), когда для всей страны понятие патриотизма сводилось, в первую очередь, к идее освобождения от иноземного нашествия. Всеобщее воодушевление этим чувством и потребность его утверждения посредством исторической ретроспективы были настолько велики, что литературоведение, естественно, искало прежде всего аналогии этому чувству, нежели стремилось проникнуть в тонкости форм его исторического бытования. Но сейчас мы, конечно, не можем не обратить внимания на то, что патриотизм, например, западников был вовсе иным, чем, скажем, патриотизм славянофилов, так же, как патриотизм революционеров-демократов радикально отличался от патриотизма лояльных чиновников и т. д. и т. д.

Рассмотрим такой пример. По случаю смерти К. С. Аксакова А. И. Герцен написал в «Колоколе», а затем повторил в «Былом и думах»: «Да, мы были противниками, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но не *одинакая*» [127, т. 5, с. 171]. Имеются в виду западники, славянофилы и их любовь к России. Характерно, что Герцен противопоставляет не системы представлений о России, а именно патриотические чувства славянофилов и западников. Точных определений для этой «неодинакой» любви Герцен не находит. Но, по-видимому, искал. Это заметно, скажем, по такому пассажи в «Былом и думах»: «Славянизм, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт <...> существовал со времен обрития первой бороды Петром I» [127, т. 5, с. 134]. Это не что иное, как попытка выработать дефиницию для одной из граней российского патриотизма.

Но в этом отношении значительно большим успехом пользовались начинания П. А. Вяземского. Его наиболее известная попытка «сепарировать» (если допустимо так выразиться) чувство патриотизма была спровоцирована как раз участием в русско-французском литературном диалоге касательно России. В 1827 г. Вяземский опубликовал в «Телеграфе» третье из своих «Писем из Парижа» и посвятил его разбору книги Ф. Ансело «Шесть месяцев в России». Указав на целый ряд недостатков в сочинении француза и заключив, что «некоторые из анекдотов, им (Ансело. — В. О.) рассказанных, как и наблюдения его отзываются каким-то малолетством», Вяземский высказывал ту мысль,

что в неверных суждениях иностранцев о России отчасти виновны сами русские, поскольку не умеют правильно репрезентовать свою страну. Упомянув о привычке многих своих соотечественников выпячивать перед иностранцами недостатки родины, Вяземский продолжал: «Таить погрешности свои не нужно; но указывайте на них с патриотическим соболезнованием, а не по расчету личной суетности». А через несколько строк Вяземский пояснял: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Турго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d'antichambre. У нас можно было бы его назвать квасным патриотизмом. Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в жертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве; в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы вырезать несколько страниц из истории отечественной <...>?» [112, т. 1, с. 243–244]

Выражение «квасной патриотизм» попало, что называется, в точку. В русской литературе и раньше не слишком приветствовалась «безусловная похвала всему, что свое». Так, В. Т. Нарезный в предисловии к роману «Российский Жилблаз» (1813–1814) специально оговаривал этот вопрос. «Что же касается немчизны, под которым названием <...> разумею я всякую чужеземщину, — предуведомлял автор, — то весьма недовольным почту себя, если кто-нибудь назовет меня порицателем всего того, что не наше. — Это была бы излишняя благосклонность ко всему своему, что также никуда не годится» [331, с. 4]. Теперь подобные пояснения становились излишними — «квасной патриотизм» одновременно обозначал и неоправданную национальную гордыню, и негативное отношение к ней автора. Это выражение стало общеупотребительным и, как известно, сохраняется русской культурой до сей поры. Вяземский дал «квасному патриотизму» по словарному четкое определение, а Мятлев в знаменитых «Сентенциях г-жи Курдюковой» снабдил его сатирической иллюстрацией:

*Но про наших патриотов  
Множество есть анекдотов.  
Патриот иной у нас  
Закричит «Дю квас, дю квас,  
Дю рассольчик огуречный!»  
Пьет и морщится сердечный:  
Кисло, солоно, мове,*

*Ме се рюс, э ву саве<sup>1</sup>:  
Надобно любить родное,  
Дескать даже и такое,  
Что не стоит ни гроша!  
Же не ди па<sup>2</sup>, ла кашб  
Манная авек<sup>3</sup> де пенки,  
Ла морошка, лез-опенки,  
Поросенок су ле хрен,  
Ле кисель э ле студийнь  
Очень вкусны; но не в этом  
Ле патриотизм! Заметим,  
Что он должен быть в душе!  
В кушанье с'ет ен пеше<sup>4</sup>! [324, с. 294–295]*

Размышления о разнообразных и порою причудливых формах патриотизма весьма занимали Вяземского. «Патриотизм есть чувство, — фиксировал он в «Старой записной книжке», — которое многие понимают по-своему. “Надобно быть патриотом своего отечества”, — говорил один почтенный старичок; другой говорил, что в Париже порядочному человеку жить нельзя, потому что в нем нет ни кваса, ни калачей» [113, с. 133]. Наблюдая удачную судьбу своей формулировки «квасной патриотизм», Вяземский пытался продолжить ряд однородных определений. «Выражение *квасной патриотизм*, — рассуждал он, — шутя пушено было в ход и удержалось. В этом патриотизме нет большой беды. Но есть и сивушный патриотизм; этот пагубен: упаси боже от него! Он помрачает рассудок, ожесточает сердце, ведет к запою <...>» [113, с. 109].

Однако универсальным стало все же определение не «сивушный», а «квасной патриотизм»<sup>5</sup>, изобретенное в полемике, посвященной обсуждению французского имиджа России. Через четыре года, осенью 1831, Вяземский снова вернулся к проблеме «неодинакого» патриотизма, и снова — в связи с защитой российского престижа перед французами.

---

<sup>1</sup> Гадко, но это русское, и вы знаете...

<sup>2</sup> Я не говорю...

<sup>3</sup> С пенками

<sup>4</sup> Это грех!

<sup>5</sup> Эту формулировку восприняли даже литераторы, вовсе не бывшие соратниками Вяземского. Так, Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841) называл «квасной патриотизм» «счастливым выражением князя Вяземского» [56, т. 1, с. 640].



В юности Вяземский сочувствовал идее польской независимости и даже попал за это в опалу. К моменту польского восстания и его подавления симпатия Вяземского к полякам уже несколько подостыла, и все же он был явно раздосадован, когда В. А. Жуковский и А. С. Пушкин по поводу польского вопроса выступили с патриотическими стихами. 14 сентября 1831 г. Вяземский переписал в записную книжку письмо, которое собирался было послать Пушкину и в котором, по собственному признанию, пытался Пушкина «оцарапать». «Попроси Жуковского, — начинал Вяземский, — прислать мне поскорее какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать шинельные стихи <...>, и не совестно ли «Певцу во стане русских воинов» и «Певцу на Кремле» сравнивать нынешнее событие с Бородином?»

Может быть, Вяземский осуждает российскую государственную политику в польском вопросе? Отнюдь, поскольку дальше продолжил: «Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии <...>. Хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свободу свою, но все же нет тут вдохновения для поэта» [111, с. 151–152].

По мнению Вяземского, Жуковский и Пушкин превратили жесткость политической необходимости в предмет поэзии, но только ли это задело Вяземского? Судя по следующим строкам в записной книжке, он раздражен еще и той формой, какую принял патриотизм Жуковского и Пушкина. Вяземский ощущал, что восставшие поляки «унизили» российское «политическое достоинство в глазах Европы», «раздели наголо перед нею этот колосс и показали все язвы, все немощи его». И Вяземскому казалось, что в подобной ситуации бессмысленно, неправильно славословить Россию. «Мы удивительные самохвалы, — рассуждал он, — и грустно то, что в нашем самохвальстве есть какой-то холопский отсед. Французское самохвальство возвышает и некоторыми звучными словами, которых нет в нашем словаре <...>» [111. 1992, с. 152]. Вот и выходит, что протест Вяземского относился не столько к проблеме политики или истории, сколько к вопросу о патриотизме.

Из рассуждений Вяземского явствует, что патриотизм Жуковского и Пушкина в пору польского мятежа виделся ему «шинельным» или «холопским». Каким же в ту пору был патриотизм самого Вяземского? По всему видно, что именно таким, о каком он писал еще в 1827 г.: любовь к отечеству с примесью ненависти.

Эта примесь ненависти давала ему возможность понять природу французской нелюбви к России.

22 сентября Вяземский делился со своей записной книжкой мыслями о пушкинском стихотворении «Клеветникам России»: «За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движении народов к постепенному усовершенствованию <...>. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем над ней. <...> Нет ни одного места в “Journal de Dйbats”, где не было бы статьи, написанной с большим жаром и красноречием, нежели стихи Пушкина» [111, с. 154–155]. Вот как! Вяземский не вникает в конкретные политические действия правительства, не поясняет, какие объективные причины делают Россию «тормозом в движении народов», не сосредоточивается на исторических предпосылках настоящего положения вещей. Его волнует другое: какие чувства вызывает Россия в Европе. И он приходит к выводу, что нелюбовь Европы к России имеет более «жара и красноречия», нежели патриотизм Пушкина. То есть, рассуждения Вяземского опять же сводятся не столько к анализу фактов, сколько к осмыслению чувств, возбуждаемых Россией. Не станем выяснять, чей патриотизм в этой ситуации был «лучше». Для нас во всем этом противоречии важен вывод, что качественная разность авторских симпатий к отечеству программирует и разное отношение к французскому тексту о России, а значит — и разную реакцию («ответную рецепцию») на этот текст.

Впрочем, еще несколько слов о стихотворении Пушкина «Клеветникам России». Цитированный выше черновик письма Вяземский, опасаясь перлюстрации, так и не отправил Пушкину. Наверняка, не собирался и афишировать свои дневниковые размышления о «самохвальстве с холопским отседом». Между тем, современный читатель, уже приученный к ученым теориям об «имперских амбициях» Пушкина, пожалуй, возьмет да и воспримет оценки Вяземского, высказанные «про себя» и под впечатлением политического кризиса, как истину в последней инстанции. А на этом основании к Пушкину будет прикреплен ярлык «шинельного» поэта «с холопским отседом», и тогда поэт, уже не имеющий возможности защититься, приобретет как раз ту репутацию, которой более всего остерегался при жизни и, главное, не заслуживал.

Обнаружить у художника неверные идеологические установки и любого рода невольные заблуждения — дело, несомненно, по-

лезное. Но обвинить поэта в неискренности, в желании поступиться истиной во имя угождения власти, в способности написать «шинельные», или казенные, стихи — это уже шаг, требующий от исследователя и критика огромной ответственности, поскольку, с одной стороны, он напрочь лишает автора читательского доверия, а с другой — ставит художника в заведомо неравные условия для самозащиты. Как известно, заронить подозрение в неискренности чувств значительно проще, нежели эти подозрения развеять.

Внимание вызывает даже не моральная сторона вопроса, а причины, побуждавшие авторов вступать в русско-французский имагологический диалог, и в связи с этим для нас принципиально, что же заставило Пушкина выступить со стихотворением «Клеветникам России», защищавшим позицию российского официоза: желание угождать власти («шинельные» чувства) или чувство патриотизма?

Дело осложняется тем, что в подобных вопросах не бывает абсолютных доказательств. Однако приведем аргументы, которые, думается, в совокупности должны выглядеть довольно убедительно. Мы уже цитировали собранные В. А. Францевым [539] тексты антироссийских выступлений, принадлежавших французским политикам и послуживших прямым поводом к созданию пушкинского ответа «клеветникам России». Французские высказывания действительно могли оскорбить патриотические чувства русских, но ведь не оскорбили же они патриотизма, например, Вяземского... Тогда другой аргумент. Многие современники поэта отнеслись к его патриотическому стихотворению с уважением и сочувствием, то есть не испытывали подозрений в его искренности. В 1835 г. Лермонтов написал собственный ответ «клеветникам России» («Опять народные витии...»), который был рассчитан на звучание в унисон с пушкинским стихотворением. Более того, Лермонтов оценил пушкинский текст как результат некоего нового и плодотворного для Пушкина творческого этапа:

*Уж вас казнил суровым словом  
Поэт, восставший в блеске новом  
От продолжительного сна... [279, т. 1, с. 360]*

Заподозрить Лермонтова в симпатии к официозу вряд ли возможно, но... вдруг кто-нибудь заподозрит. Тогда сошлемся на Белинского. В широко известной статье «Разделение поэзии на роды и виды» он отмечал: «“Клеветникам России” и “Бородинская годовщина” Пушкина, хотя и дышат бурным, пламенным дифирамбическим вдохновением, но <...> не могут быть названы гимнами или дифирамба-

ми в строгом смысле, потому что в них слишком заметна личность поэта» [56, т. 2. с. 47]. Под «личностью поэта» Белинский, надо думать, подразумевал индивидуальные, искренние (а не обусловленные требованиями жанра или политического заказа) чувства.

Но вдруг и Белинский как-нибудь случайно проникся симпатией к российскому официозу или не заметил неискренности Пушкина. Обратимся еще к одному автору с незапятнанной официальным признанием репутацией. В 1856 г. Чернышевский писал Некрасову: «Свобода поэзии в том, чтобы <...> писать о том, к чему лежит душа. Пушкин был несвободен, когда писал под влиянием декабристов “Оду на вольность” и т. п., и свободен, когда писал “Клеветникам России” или “Руслана и Людмилу” — каждому свое, у каждого своя свобода» [408, с. 299]. Но оставим мнения критиков и обратимся к литературным аналогиям.

В 1854 г. П. А. Вяземский издал сборник стихотворений «К ружью». И что характерно: эти стихотворения Вяземского, который столь рьяно выступал против «квасного» и «шинельного» патриотизма, были квалифицированы советским литературоведением как пропитанные духом казенного патриотизма [384, с. 42]. Вот довольно характерные строки из этого сборника (стихотворение «Песнь русского ратника»):

*Закити, святая сеча!*

*Грянь наш крик, побед предтеча:*

*Русский бог и русский царь!* [112, т. 11, с. 41]

Этого мало, тогда же П. А. Вяземский выступил за границей с «Письмами русского ветерана», где стремился оправдать политику российского самодержавия в условиях Восточного кризиса и Крымской войны. «В издаваемых нами письмах, — сообщал Вяземский в предисловии, — решительно и бесповоротно опровергаются бесчисленные неправды, с такою назойливостью выпускаемые этим роем писателей, подкупленных, запуганных или увлеченных неразумным предубеждением» [112, т. 6, с. 267]. В общем, ни дать ни взять — казенный литератор<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> В «неправильном» патриотизме Вяземского начали упрекать еще в период Крымской войны, причем к нему было применено им же созданное определение. В сентябре 1855 г. Никитенко отметил в дневнике, что П. А. Вяземский «написал патриотическую статью против парижской выставки». Сам Никитенко считал выставку делом весьма полезным, о чем написал, упрекая Вяземского: «Чтоб не понять этого, надо быть уж очень *квасным патриотом* (курсив мой. — В. О.)» [343, т. 1, с. 419].

Как объяснить такое перевоплощение? Обычно его объясняют просто: мол, П. А. Вяземский, заняв важные государственные посты, перешел на консервативные позиции и стал исповедовать принципы официальной российской идеологии. Если во всем искать лишь рациональное начало, то, конечно, можно решить, что было именно так. Но если учесть человеческий или, скорее, эмоциональный фактор, то перевоплощение князя Вяземского будет выглядеть совсем не циничным.

В период Восточного кризиса и осады Севастополя Вяземский лечился за границей. Вяземский тяжело переносил эту поездку, но положение усугублялось еще и тем, что в тревожную пору вести из России он получал весьма скудные. Зато повсюду слышал энергичные антироссийские призывы, которые в своей резкости ничем не уступали высказываниям французских парламентариев в период польского восстания. 19 ноября 1853 г. он, например, записывал в дневнике: «“J. de Dîbats”, кажется, начинает склоняться на нашу сторону в восточном вопросе. Зато “La Presse” врет и беснуется. Журналы не имеют никакого понятия о России и Турции, а распоряжаются ими, как своею собственностью» [112, т. 9, с. 51]. Результаты враждебной пропаганды Вяземский чувствовал и в повседневном общении. В марте 1855 г. в Веде он написал стихотворение «Англичанке», посвященное г-же Штейгер, которую он обучал русскому языку:

*Когда, беснуясь, ваши братья  
На нас шлют ядра и проклятья  
И варварами нас зовут, —  
Назло Джон-Булю и французам,  
Вы улыбнулись русским музам  
И дали у себя приют.*

<...>

*Боясь, чтоб Пальмерстон не сведал  
И вас за руссицизм не предал  
Под уголовную статью,  
Украдкой варварскую руку,  
Сердечно чувств моих поруку,  
Я дружелюбно подаю [114, с. 337].*

Вяземский вблизи наблюдал, как западная пропаганда без труда пересиливает. Для сравнения вспомним, что в 1853 г. М. П. Погодин был на водах в Эмсе и прочел несколько брошюр о России. «Что за нелепости пишут о России и русской церкви... — возмущался он. — А

мы все молчим!.. Рука так и рвалась писать и вступить в состязание, но доктор не велит» [45, кн. 12, с. 488]. Вяземскому, который, подобно Погодину, отправился в Европу для поправки здоровья, врач, наверное, тоже вряд ли прописывал участие в литературных баталиях, но Вяземский не стерпел. Не стерпел и взялся по мере сил противостоять порывам антироссийских настроений. В марте 1854 г. он опубликовал в «*Indipendanc Belge*» перевод своего стихотворения «Вот в воинственном азарте...», где «поднял на смех Лже-Наполеона» [112, т. 9, с. 114]. Тогда же в европейских газетах он помещает свои статьи о Восточном вопросе, где опровергает нападки на Россию. Позднее эти статьи и составят сборник «Письма русского ветерана».

Нужно понять душевное состояние Вяземского. В ответственную минуту он оказался вдали от родины, во враждебной среде. К этому времени он уже потерял многих из тех, кто некогда составлял ближайший круг его общения и привязанностей. Уже не было ни Жуковского, ни Пушкина, ни Д. В. Давыдова. Из жизни уходили даже люди гораздо более младшего поколения. В Дунайской кампании погиб Андрей Карамзин. Иногда Вяземский с большим опозданием узнавал о смерти старинных знакомых. Лишь 27 августа 1854 г. он узнал о смерти Дмитрия Максимовича Княжевича [112, т. 9, с. 137], бывшего когда-то вице-президентом Вольного общества любителей российской словесности и скончавшегося еще в октябре 1844 г. Единственной реальной привязанностью для Вяземского оставалась родина. И эта родина терпела одно поражение за другим и в пропагандистской, и в военной борьбе. Пожалуй, многие современники не были согласны с суждениями Вяземского, но в то же время они вполне могли понять душевное состояние, подвигшее Вяземского на выступления в европейской печати.

Так, В. С. Аксакова 16 октября 1855 г. отметила в дневнике по поводу одной из публикаций Петра Андреевича: «<...> Вяземский мог написать такие стихи и такую статью о государе Николае Павловиче, потому что, живя за границей, когда везде слышались оскорбление и злоба против России, и особенно против государя Николая Павловича, он слил в своем впечатлении Николая Павловича и Россию. Говорят, что за границей нельзя слушать равнодушно брань на государя, хотя бы дома сами его ругали гораздо более. <...> Надобно надеяться, что, приехавши в Москву и услышавши другие речи, он поймет другой взгляд» [16, с. 157].

Вяземский, как и прежде, видел темные стороны российской действительности. Но его патриотизм вместо доли ненависти приоб-

рел ту черту, которую сам Вяземский некогда назвал «патриотическим сочувствием». «По всему видно, что у нас мало сил, — и это непросто, — писал он в дневнике. — Россия истощается для содержания войска, а когда и где войска нужно, тогда и там его нет. Вот более года, что журналы толкуют о нападении на Крым, а подмоги наши подходят туда только теперь, когда неприятель занял уже часть Крыма» [112, т. 9, с. 128]. Но значительно больше, чем изъяны отечества, Вяземского беспокоят российские беды. Вот подборка его заграничных дневниковых записей.

11 ноября 1854 г.: «Читал русское донесение о деле Липранди. Очень удовлетворительно и одобрительно. Но может ли устоять Севастополь? Вот вопрос?»

14 ноября: «Худые известия о Севастополе».

28 ноября: «Читал принцессе письмо из Севастополя, присланное мне Титовым» [112, т. 9, с. 140].

9 апреля 1855 г.: «Севастопольская пальба опять громит душу» [112, т. 9, с. 164].

31 мая: «Крымские вести плохи. Не имею духа читать журналов. <...> Вообще все, что слышишь, не радует. Тяжкие уроки, видно, нас не научают» [112, т. 9, с. 166].

Участник Бородинского сражения, Вяземский, отрезанный от родины, которая терпела поражение, нашел единственно возможное применение для себя: воодушевлять своими стихами соотечественников и опровергать своими статьями «клеветников России».

Это был запрос эпохи, запрос настолько требовательный, что подвигнул, скажем, даже Бенедиктова, не обращавшегося прежде к политическим темам, выступить с патриотическими антиевропейскими стихотворениями. Возьмем хоть бы написанное в 1855 г. стихотворение «К отечеству и врагам его». Схема его вполне отражена в заглавии. Сначала прославление отчизны:

*Я люблю тебя тем пуще,  
Что прямая, как стрела,  
Прямотой своей могущей  
Ты Европе немела.*

А затем — все тот же ответ «клеветникам России»:

*Вы с трибун, где дар витийства  
Человечностью гремел,  
Прямо ринулись в убийства,  
В грязный омут бранных дел [60, с. 327–329].*

Конечно, с наступлением мира и эти стихотворения, и статьи Вяземского потеряли свою актуальность и значимость. Уже в 1860 г. Н. А. Добролюбов иронизировал над «барабанно-патриотическими стихотворениями военного времени», хотя и признавал, что в военную пору они выглядели вполне «естественно» [169, с. 417]. В эпоху Крымской кампании литератор Вяземский руководствовался принципом (кстати, введенным в поговорку французами) «На войне — как на войне». По сути, он повторял путь, которым Пушкин прошел в 1831 г., когда ожидал столкновения с Францией по поводу польского вопроса. Привязанность к отечеству заставляла забыть в критическую минуту о перспективе приобрести славу казенного поэта. Крымская война не прошла для Вяземского бесследно, и в 1863 г., в эпоху очередного польского кризиса он писал свой ответ «клеветникам России» — стихотворение «Французские журналы»:

*Французским крикунам молчанье хуже пытки*

<...>

*Теперь они ордой на нас восстали дружно.*

*Им верить — пробудил в них жalousь Польши стон;*

*Нет, власть законную поколебать им нужно:*

*Им нравится мятеж, какой бы ни был он* [112, т. 12, с. 14].

Это стихотворение особенно трудно оценить верно вне исторического и литературного контекста. Оно создавалось, как и «Клеветникам России» Пушкина, в условиях политической напряженности. Для сравнения приведем четверостишие Тютчева, относящиеся к тому же периоду. В 1863 г. генерал-губернатор Петербурга А. А. Суворов, внук полководца, отказался подписать приветственный адрес усмирителю Польши генералу М. Н. Муравьеву, прозванному «Вешателем». Тютчев в связи с этим бросал по адресу А. А. Суворова презрительные строки:

*Гуманный внук воинственного деда,*

*Простите нам, наш симпатичный князь,*

*Что русского чествуем мы людоеда,*

*Мы, русские, Европы не спросясь!...*

[524, т. 1, с. 333]

Изменились ли к тому времени политические взгляды Вяземского? Разумеется, изменились. Но, совершенно понятно, что изменились и его чувства к отечеству. Психологически это вполне объяснимо. Вяземский пережил долгие годы непрерывных потерь, и его настроение последних лет жизни вполне отражают, например, такие строки, написанные в 1872 г.:



*Все сверстники мои давно уж на покое,  
И младшие сошли давно уж на покой:  
Зачем же я один несу ярмо земное,  
Забывтый каторжник на каторге земной?*

[112, т. 12, с. 452]

Вяземский жил воспоминаниями. Все дорогое: и люди, и увлечения, и литературная слава — оставалось в прошлом. В настоящем была лишь Россия, идеализированная во время заграничных поездок и благодаря воспоминаниям о былом. Вяземский был привязан к этой России и считал долгом защищать ее от нападок зарубежной литературы и прессы.

Нам привычно анализировать убеждения литератора, чтобы разобраться в логике его творчества. Но можем ли мы вполне постичь эту логику, не разобравшись в чувствах художника? Ведь мы не забываем об эмоциональной, чувственной стороне творческого процесса, когда пытаемся осмыслить любовную лирику того или иного литератора. Точно так же нам придется считаться и с патриотическими чувствами любого художника, когда мы говорим о мотивах, побуждающих его вступать в межлитературную полемику и воздействовать на иностранный имидж своего отечества.

**«Проверка» чувств — своих и чужих.** Итак, всякий российский литератор, воспринимая французский текст о России, анализирует его не только на основании собственных *знаний* о родине, но и на фоне своих *чувств* к родине. Характерно при этом, что российский автор интересуется не одной фактической стороной французского текста. Он, как правило, стремится также выяснить, какие чувства испытывает к России зарубежный оппонент. И думается, подобный интерес имеет двоякую природу, но начнем с одной его грани. Мы непременно должны учитывать известный психологический эффект, в соответствии с которым всякому человеку свойственно «проверять» или «подтверждать» собственные симпатии и антипатии и для этого сравнивать их с ощущениями посторонних наблюдателей. Так, скажем, российскому патриотически настроенному автору, разумеется, будет импонировать мнение французского литератора, который с уважением и симпатией станет отзываться о России. Пожалуй, что благорасположение иностранца к России даже сможет укрепить российского литератора в его привязанности к отчизне, подогреть чувство гордости. И наоборот, неприязненные отзывы либо вызовут враждебное чувство к иностранцу, либо смогут поколебать патриотизм русского литератора.

Поэтому вовсе не странно, что российские литераторы постоянно интересовались чувствами иностранцев к России. Вот, скажем, запись в дневнике А. В. Никитенко за 21 июня 1834 г.: «Посетил меня <П. Д.> Калмыков, на днях приехавший из Берлина. <...> Русских везде в Германии <...> ненавидят. Знаменитый Крейцер сам сказал Калмыкову после взятия Варшавы, что отныне питает к нам решительную ненависть. Одна дама пришла в страшное раздражение, когда наш бедный студент раз как-то вздумал защищать своих соотечественников. “Это враги свободы, — кричала она, — это гнусные рабы”» [343, т. 1, с. 147]. Ровно через год Никитенко встретился с товарищами Калмыкова, студентами Дерптского профессорского института, вернувшимися из-за границы. И снова делает запись: «<...> Ненависть к русским за границей повсеместная и вопиющая. Часто им приходилось скрывать, что они русские, чтобы встретить взгляд и ласковое слово иностранца. Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. Профессора провозглашают это с кафедр, стараясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества» [343, т. 1, с. 173].

Патриот не склонен доискиваться причин собственной любви к родине. Однако враждебное чувство иностранца, как правило, влечет за собой попытку объяснить происхождение этого чувства. Это заметно уже по цитированным записям Никитенко, но вот еще более характерный пример. В 1853 г. М. П. Погодин съездил в Европу на воды и вполне оценил отношение заграницы к России. На этом основании он составил политическое письмо для графини Блудовой, в котором предложил весьма любопытную классификацию. Приведем ее с сокращениями: «Одни ненавидят Россию, потому что не имеют о ней ни малейшего понятия, руководствуясь сочинением какого-нибудь Кюстина и двух-трех наших выходцев, которые знают свое отечество еще хуже его. <...> Другие ненавидят Россию, считая ее главным препятствием общему прогрессу, быв уверены, что без России конституционные попытки в Германии и повсюду удались бы гораздо полнее... <...> К третьей категории принадлежат различные выходцы, изгнанники, политические бобыли и пролетарии, которым терять нечего <...>. Между ними поляки и венгерцы удовлетворяют войною вместе и чувству личной мести» [45, кн. 12, с. 534–535].

Апелляции к *чувствам* чужеземцев становятся особенно часты, когда страна переживает кризис, следовательно, происходит

ломка общественных представлений и «проверка на прочность» отечественных симпатий к ней. Так было в пору наполеоновских войн. Как уже говорилось, накануне вторжения французов в Россию журнал «Русский вестник» занял строго патриотическую позицию и почти вовсе отказался от публикаций европейских текстов. Однако к мнению иностранцев о России журнал все же по временам обращался и вот, например, в каком контексте. В 1811 г. «Русский вестник» публиковал статью «О русских пословицах» и, дабы подтвердить собственные выводы о моральных качествах русского народа, писал: «Сами иноплеменники не раз славили гостеприимство русских <...>» [357, с. 21].

Нам не удивительно читать среди военных воспоминаний всех времен и народов формулы, типа следующей: «Мы проиграли, но сами враги признали храбрость нашу!» Такого рода высказывания во множестве обнаруживаем в отечественных текстах о Крымской войне. Вот корреспонденция протоиерея Лебединцева из осажденного Севастополя. Он сокрушенно писал по случаю потери передовых российских укреплений при штурме 26 мая 1855 г.: «Плохо, очень плохо нам, в последние дни поколебалась наша уверенность в неодолимости Севастополя. <...> Я вижу в нашем несчастье попущение божие, которое, когда нужно наказать, отнимает ум у начальников» [45, кн. 14, с. 50]. Дальнейший ход осады представлял собой ряд еще более трагических потерь. В чем же мог искать утешение защитник города? Наверное, священник мог искать его в религии. Но, оказывается, не только. Когда он сообщал об очередной утрате — о гибели вдохновителя осады адмирала Нахимова, — то, подобно военным, акцентировал внимание на том, что в момент похорон «на неприятельском флоте прислушены были флаги» [45, кн. 14, с. 64], то есть враг проявил уважение к руководителю осажденных.

Но вот Крымская кампания была окончательно проиграна. В чем же тогда могли искать утешение и оправдание своей патриотической гордости военные и все, кто не был равнодушен к судьбе страны? Прочитируем любопытную в этом отношении заметку, помещенную в «Русском вестнике» в 1856 г. и посвященную чествованию в Москве героев Севастополя. «Не замечали ли мы, — задавался вопросом корреспондент журнала, — что собственные реляции наши скромнее прославляли подвиги наших героев, чем отзывы наших неприятелей об них? Славные бойцы севастопольские <...> совершили важное и великое завоевание — они завоевали нравственное сочувствие и уважение Европы к рус-

скому народу» [555, с. 78]<sup>7</sup>. Сейчас трудно соразмерить материальные потери от Крымской войны и нравственные завоевания, совершенные в ее ходе, но известно, что современники событий упоминали об уважении Европы, завоеванном русским народом, с неизменной гордостью, а стало быть, ценили его высоко.

Но заметим, что интерес к чужеземным симпатиям и антипатиям имеет и более рациональные резоны, нежели поддержание собственного национального чувства. Российские литераторы не без основания ощущали, что оценки и интерпретации фактов российской жизни, содержащиеся во французском тексте, зачастую зависят именно от тех чувств, которые испытывают к России французские авторы. Это вполне объяснимо: недоброжелательство влечет за собой огульную критику и клевету, а симпатия побуждает желание разобраться в реальной жизни России и добросовестно описать ее. Исходя из этого, в любом, даже чисто фактографическом иностранном источнике о России российский литератор (историк, публицист и т. д.), как правило, стремился уловить, какие чувства к России питал иностранный автор. А. С. Пушкин, например, в предисловии к переводу записок Моро де Бразе предупреждал, что тот «не любит русских и недоволен Петром» [442, т. 10, с. 253], а из этого следует, что и многие суждения Моро не вполне справедливы.

Точно так же Д. В. Давыдов, опровергая французские суждения о кампании 1812 г., заключал, что неверные оценки иностранцев происходят «или от *низкого чувства зависти* (курсив мой. — В. О.), или просто от невежества»<sup>8</sup> [158, с. 290]. Это писалось в 1825 г. К

---

<sup>7</sup> Еще один подобный пример: в том же 1856 г. «Журнал Министерства народного просвещения» сообщал о посещении французскими генералами 3-й Московской гимназии и с гордостью заключал, что «по внимательном осмотре кабинетных собраний, каталогов и всех учебных пособий, они нашли их удовлетворяющими не только потребностям гимназического курса, но и современному состоянию науки» [428, с. 105].

<sup>8</sup> Подобное рассуждение обнаруживаем в «Семирамиде» А. С. Хомякова: «Как скоро дело доходит до славян, ошибки критиков немецких так явны, промахи так смешны, слепота так велика, что не знаешь, чему приписать это странное явление, совершенному ли развитию (м. б., различию? — В. О.) духа ветвей германской и славянской, которое делает факты славянского мира непонятными для немца, или скрытой зависти, пробужденной самим соседством» [546, т. 1, с. 56]. О том же Хомяков писал в статье «Мнение иностранцев о России» (1845). Заметив, что у иностранцев о России «всегда один отзыв — насмешка и ругательство, всегда одно чувство — смешение страха с презрением», Хомяков заключал: «Недоброжелательство к нам других народов, очевидно, основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы и на невольной досаде перед этой самостоятельной силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов» [545, с. 83–84].

1836 г. для Давыдова, кажется, не оставалось сомнений, поскольку в незавершенной статье «Мысли при известии о неудачном предприятии на Константину французских войск» он уже однозначно связывал неверность европейских суждений о России с чувством недоброжелательства. «Кто из нас, — восклицал Давыдов, — не замечал явной и всеобщей ненависти к России чужеземных историков, журналистов и большей части писателей? Везде, где коснутся они России, ее государей, вождей, народа и войска, везде возводят на них клеветы <...>» [157, с. 133]. «С какой тайной радостью, — продолжал Давыдов атаку на предвзятых иноземцев, — повествуют они о поражении нашей неопытной армии под Нарвой. <...> Нет исторического и дамского альманаха, нет той детской книжки, где бы не были изображены эти события на чужеземный лад, то есть в искаженном виде <...>» [157, с. 135].

Важно, что неприязнь или, по крайней мере, равнодушие европейцев к России зачастую воспринимались в России как явление надвременное и почти фатальное. Из этого сам собой следовал вывод, что иностранцы в своем большинстве вообще не способны верно изображать Россию и, в частности, ее историю. Поэтому вовсе не случайно, что далее Давыдов развивал мысль о сочинениях французских историков: «Я помню, сколь в детстве моем чтение Левека, француза-писателя <...>, испортило мне крови. Этот Левек измерял обычаи и действия Петра на аршин обычаев и нравов дряхлеющего и гнилого французского общества того времени. Сам Вольтер, не устояв против обворожительной любезности Екатерины, восхваляя Карла XII, не имел духа сам собою предпринять историю его победителя и, вероятно, не приступил бы к ней, если бы великая монархиня не победила в нем драгоценною собольею шубой и значительною суммою денег врожденного в каждом иностранце чувства ненависти ко всему русскому» [157, с. 135]. Сочинениям иностранцев Давыдов противопоставлял исторический труд отечественного автора (современника Левека и Вольтера) Голикова, чью историю России находил не в пример более справедливой.

Кажется, Давыдов вовсе не горячился, а говорил о вещах, им давно обдуманных. Во-первых, о сочинении Левека в подобном духе отзывался еще Карамзин (устами своего «русского путешественника»). «Левек как писатель — не без дарования <...>, — замечал он, — но кисть его слаба, краски не живы <...>. К тому же Россия не мать ему; не наша кровь течет в его жилах: может ли он гово-

рять о русских с таким чувством, как русский?» [226, т. 1, с. 344]. Во-вторых, сам Д. В. Давыдов уже давно замечал принципиальные недостатки иностранных исторических опытов. Еще в 1833 г. он высказывался подобным образом о немецкой истории Петра I. «Признаюсь вам, — писал Давыдов И. В. Салаеву, — что история исполинского царя нашего (Бергмана) мне мало понравилась. Холодна, тяжела! Видно, что писана немцем! Нет в ней жизни, нет в ней русской души. Это Петр, но Петр восковой, какого я видел в Кунсткамере» [157, с. 182]. В подобных наблюдениях и рассуждениях Давыдов был далеко не одинок. Когда в 1808 г. старый русский дипломат Я. И. Булгаков познакомился с иностранной биографией Потемкина, то делился с сыном: «Жизнь Потемкина прочел, писана очень хорошо; но сочинитель не бывал в России, дел совсем не знает, а об истории того времени и понятия не имеет; имена перепорчены, времена перепутаны и пр., и пр.» [81, с. 222]. Такие наблюдения утверждали в мысли, что иностранцу недоступно осознание российской истории.

Ф. Н. Глинка в статье «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года» (написана в 1813–1814 гг., опубликована в 1816) делился соображениями о тех требованиях, которым, по его мнению, должен соответствовать автор будущей российской истории. Среди прочих качеств Глинка настаивал на таком: «А *более всего* должен быть он русским<sup>9</sup> по рождению, поступкам, воспитанию, делам и душе». «Чужеземец со всею доброю волей, — пояснял Ф. Глинка, — не может так хорошо знать историю русскую, так упоиться духом великих предков россиян, так дорого ценить знаменитые деяния протекших и так живо чувствовать обиды и восхищаться славою времен настоящих! <...> Он невольно не отдаст должной справедливости *победителям Мамайя, завоевателям Казани, воеводам и боярам русской земли, которые жили и умерли на бессменной страже своего Отечества. Говоря о величии России, иноземец, родившийся в каком-либо из тесных царств Европы, невольно будет прилагать ко всему свой уменьшенный размер*» [133, с. 204].

---

<sup>9</sup> По неясным соображениям составители цитируемого издания в этом месте выпустили следующие примечание автора: «Г. Меркель, издатель “Рижского зрителя”, также в особой статье очень убедительно и умно доказывал, что историк войны 1812 года непременно должен быть Русской» [195, с. 78].

Дабы не оказаться голословным, Глинка перечисляет французские сочинения об Отечественной войне: «полубаснословные рассказы» Лабома, «кривые толки» Саразеня, «несправедливые о нас понятия» Вентурини. Их необъективность, по мнению Глинки, проистекает именно из чувства национальной предвзятости. «Сей последний, — замечает Глинка, — писавши, равно как и два первых, о войне 1812 года, хотя и отдает полную справедливость мужеству русских, но по какому-то странному предубеждению довольно ясно намекает, что они не имели достаточно ясного понятия ни о славе и свободе Отечества, ни о святости прав народных, а сражались по слепому порыву, как дикие за свои *юрты!*» Подобным искажениям, считает Глинка, можно противопоставить лишь труд отечественного историка, поскольку «русский историк не опустит ни одной черты касательно *свойств народа и духа времени*. Он не просмотрит ни предвещаний, ни признаков, ни самих догадок о случившихся несчастьях» [133, с. 205]<sup>10</sup>.

В этом контексте приобретает особое значение позиция А. С. Хомякова. Зимой 1838–1839 гг. на одной из «сред» И. Киреевского он прочел статью «О старом и новом», которая до сей поры воспринимается как программный документ славянофильства [546, т. 1, с. 578]. «Современную Россию мы видим, — заявлял Хомяков, — <...> но старую Русь — надобно угадать» [546, т. 1, с. 459]. Это замечание о соотечественниках. А что бы мог сказать Хомяков по этому поводу об иностранцах? Мы уже упоминали, что в других работах Хомяков упрекал их в незнании и непонимании даже и современной России. Вполне очевидно, что он с полным сочувствием мог бы поддержать в этом отношении знаменитую формулу Тютчева: «Умом Россию не понять, // Аршином общим не измерить...». Точно так же, как должно было быть близким ему и тютчевское обращение к России:

---

<sup>10</sup> Порою подобные, без сомнения, имевшие реальную почву рассуждения вели к огульному предубеждению. Так, в 1858 г. «Библиотека для чтения» опубликовала фрагментарный перевод драмы П. Мериме «Лжедмитрий», но в предисловии преподнесла его как пример верхоглядства французов, которые «по-прежнему трактуют нас свысока» [206, с. 2]. Между тем, драма Мериме, хоть и носила романтико-экзотический оттенок, основывалась на добросовестных исторических исследованиях. Качество дальнейших работ Мериме о российской истории было, между прочим, оценено российскими историками-профессионалами, в частности, Устряловым, который утверждал, что дело царевича Алексея Мериме «изложил мастерски» [526, с. 680].

*Не поймет и не заметит  
Гордый взор иноплеменный<sup>11</sup>,  
Что сквозит и тайно светит  
В красоте твоей смиренной* [524, т. 1. с. 171].

Представление о неспособности чужеземцев испытывать к России сыновние чувства, а следовательно, понимать Россию, интуитивно угадывать сущность ее жизни было прочно усвоено русской литературой и российским обществом. Потому-то в читательском сознании должна была находить моментальный отклик, например, лермонтовская характеристика Дантеса: «Не мог щадить он нашей славы, // Не мог понять в сей миг кровавый, // На что он руку поднимал!..»

Впрочем, иностранные (и, в частности, французские) литераторы далеко не всегда относились к России с неприязнью. Русская литература чутко реагировала на эти случаи и на доброжелательные описания России, понятно, отзывалась с благодарностью. Естественно, что благорасположение французского автора к России настраивало нашего читателя относиться к его сочинению с особым доверием. Но при этом верно и то, что российский читатель далеко не всегда готов был ставить знак равенства между симпатией иностранца и справедливостью его описаний. Во-первых, искренность авторской симпатии могла вызывать сомнения. Так, М. Д. Бутурлин отмечал в своих записках, что в 1842 г. он познакомился с д'Арленкуром. «Он между прочим сказал мне, — вспоминал Бутурлин, — что надеется, что мои соотечественники останутся довольны его описанием России, имеющим выйти в печать. Слова эти были, вероятно, намеком на недоверие, возбужденное книгою о России маркиза де Кюстина, недавно перед тем вышедшею». Догадка Бутурлина рождала подозрение, что сочинение д'Арленкура будет конъюнктурным, а сама книга это подозрение впоследствии подтвердила, и Бутурлин написал о д'Арленкуре: «Он не только сдержал свое слово, но даже пересолил» [86, кн. 3, № 9, с. 320].

---

<sup>11</sup> Исследователь А. Цинговатов утверждал, будто Тютчев подразумевал здесь в первую очередь немцев, поскольку сам же Тютчев некогда сказал: «Самый умный немец, когда начнет говорить о России, непременно окажется глупцом» [550, с. 5]. Не беремся доказывать обратное, но, кажется, под «гордым взглядом иноплеменным» Тютчев с тем же успехом мог подразумевать и французский, и английский, и любой прочий европейский «взгляд».



Даже если симпатия зарубежного литератора к России не вызвала сомнений, она еще не служила гарантией верности его представлений о России. Приведем цитату из отзыва П. А. Вяземского на книгу Ансело: «Нельзя сказать, — замечает критик, — чтобы автор, как многие из собратий его, был движим каким-нибудь недоброжелательством к русскому народу и увлечен предубеждением против России; но зрение его слабо и близоруко. <...> Россия, может быть, отчасти и видна в его книге, но видна, как в зеркале тусклом и к тому же с пятнами <...>» [112, т. 1, с. 234]. Еще один пример. В марте 1844 г. Герцену удалось прочесть французскую стенограмму парижских лекций Мицкевича о русской литературе. «Дочитал Мицкевича лекции, — записывал Герцен в дневнике. — <...> Он далек от ненависти к России — напротив, он хвалит ее, — но не понимает, до того не понимает, что иной раз лучшие ее стороны его приводят в отчаяние: так, в Петре он понял одну отрицательную сторону, равно и в Пушкине, а он был дружен с ним; и как же его душе поэта было не понять Пушкина?» [127, т. 9, с. 158]

Словом, мы выяснили, что, во-первых, чувства того или иного российского литератора к своему отечеству, какими бы они ни были, оказывали воздействие на характер «ответной рецепции». А во-вторых, осмысление субъективно-эмоционального восприятия России составляло особый уровень имагологического диалога, что было обусловлено, с одной стороны, естественным стремлением российских литераторов сопоставить собственное отношение к России с отношением к ней европейцев, а с другой, — желанием осмыслить природу и качества зарубежных оценок российской действительности.

На этом бы и завершить разговор о чувствах к отечеству, если бы эти чувства не вступали в постоянное соприкосновение или противоречие с другими мотивами, побуждавшими российских литераторов создавать тексты «ответной рецепции».

**Патриотизм и власть.** Вернемся к тому вопросу, что чувство патриотизма чрезвычайно многолико. Не будем братья за непосильную задачу классифицировать его оттенки, но заметим, что само *понимание* патриотизма, представление о его значимости и целях дифференцировать весьма легко: существует естественное, часто неосознанное, личностное представление о патриотизме, и есть представление о нем государственное, официальное. Порою эти представления сливаются, а порою остро противоречат друг другу, но обо всем по порядку.

Для начала приведем один почти анекдотический эпизод, который хоть и односторонне, но весьма характерно отражает так называемое казенное представление о чувстве патриотизма (да, кстати, он имеет аналогии в современной и научной, и политической жизни). Читаем в дневнике Никитенко запись от 16 декабря 1848 г.: «Вчера один из молодых магистров, <Н. А.> Варнек, защищал в университете диссертацию: “О зародыше вообще и о зародыше брюхоногих слизняков”. Вещь очень любопытная и прекрасно изложенная молодым ученым. Но на диспуте произошла непристойность. Диспутант <...> сопровождал свою речь в иных местах латинскими терминами, иногда немецкими и французскими, которые ставил в скобках при названии технических предметов. Из этого профессор <И. О.> Шиховский вывел заключение, что Варнек не любит своего отечества и презирает свой язык, о чем велеречиво и объявил автору диссертации. Последний был до того озадачен этим новым способом научного опровержения, что растерялся и не нашел, что отвечать» [343, т. 1, с. 316]. Возможно, профессор Шиховский вполне искренне (хоть и неразумно) ратовал за чистоту отечественного языка, но кому же не ясно, что в ту эпоху официальной пропаганды «народности» штамп, употребленный им («не любит своего отечества»), носил кондово-казенный характер. Официоз всегда стремится увязать любое инакомыслие с недостаточным чувством патриотизма. Так, например, в списках III Отделения даже князь А. М. Горчаков, кстати, ставший позднее сенатором, числился как «нелюбящий Россию» [278, с. 23].

Воспитание в молодом поколении любви к отечеству свойственно любой нации и любому социальному классу. На государственном уровне это воспитание выполняет важную задачу — патриотические если не чувства, то убеждения служат в качестве одной из «склеек», обеспечивающих единство общества, целостность государства. А посему патриотизм, как правило, пропагандируется и поощряется властью. Правда, не всякий патриотизм, а лишь тот, который, кроме любви к отечеству, включает в себя еще и любовь к существующей властной системе, поскольку всякая власть видит патриотизм необходимым условием самосохранения.

Как представляла себе патриотическое воспитание российская власть, легко судить, например, по тем инструкциям, которые давала императрица Елизавета Петровна наставнику великого князя Павла Петровича графу Н. И. Панину. «Надлежит предпочтительно перед другими науками, — наставляла императрица, — подать

его величеству совершенное знание о России, показать ему, с одной стороны, из дел прошедших и нынешних, особливо родителя нашего времен, изящные качества русского народа, неустрашимое его мужество в войне, непоколебимую его верность и усердие к отечеству, а с другой стороны, плодородие и почти во всем изобилие пространных российских земель <...>. Такие преимущества русского народа и выгоды земель, которые он обитает, приобрели от всех народов почтение и знатность отечеству нашему, а у них возбуждают тем и зависть; в его же высочестве <...> должны они возбудить крайнюю любовь и рачение» [332, с. 20]. Так воспитывали российских царей, так воспитывали и любого русского дворянина, всякого образованного человека. Воспитывали так, как это делалось и делается во всем мире.

Для обладателя государственной власти престиж страны — это еще и личный престиж, для монарха — престиж династии. Для представителей царской фамилии и прочих предержателей власти защита российского имиджа в Европе была одновременно и результатом естественной склонности, и вопросом защиты личного достоинства, и делом государственной необходимости. Не станем выяснять, у какого из монархов в каких пропорциях варьировались эти стимулы, но однозначно, что в России необходимость поддержания и защиты национального имиджа в зарубежных мнениях и зарубежной литературе признавалась на самых высоких официальных уровнях.

Понятно, что не всякий монарх был способен лично выступать в роли пропагандиста России и ее защитником перед лицом европейских мнений. С. Макашин очень верно отмечает, что, скажем, в век «ограниченной и невежественной» Елизаветы «культурный престиж монархии на Западе защищают просвещенные вельможи, влиятельнейшим и типичнейшим среди которых является <...> И. И. Шувалов» [296, с. X].

Императрица Екатерина II занималась делом российской пропаганды лично и весьма успешно. Порою Екатерина II бралась «литературно» отвечать на «клеветы иностранцев о России». Так, известно ее возражение «Антидот» на книгу о России аббата Шаппа д'Отроша. Частная переписка с энциклопедистами обеспечивала Екатерине имидж просвещенной «царицы Севера», давала возможность самостоятельно формировать образ России в воображении французских авторов, к которым прислушивался весь образованный мир. Вот характерная выдержка из ее письма к

Вольтеру (14 июля 1769 г.): «Налоги у нас так умеренны, что в России нет ни одного крестьянина, который бы не ел курицы, когда ему захочется, и что с некоторого времени в иных провинциях предпочитают курицам петухов индийских; что вывоз хлеба, позволенный с некоторою ограниченностью, которая предохраняет от злоупотребления, не вредя торговле — возвысив цену съестных припасов, награждает столько земледельца, что хлебопашество каждый год более и более умножается, что в некоторых провинциях в продолжение семи лет число жителей очень умножилось. Правда, что у нас война теперь; но Россия давно уже упражняется в этом, и после каждой войны возрастает ее благоденствие» [406, кн. 1, с. 56–57]. После этого не удивительно, что Вольтер готов был воспевать венценосную корреспондентку, надеялся, что она освободит от турецкого владычества Грецию, а, узнав о взятии Крыма, писал ей: «Как постыдно безрассудство молодых сограждан моих, с которым хотя бы они сражались против Екатерины, между тем, как двести тысяч татар оставляют Мустафу для того, чтобы служить ей. Теперь татары просвещены, а французы стали скифами» [406, кн. 2, с. 55].

Екатерина II умела внушать уважение и восторг иностранным литераторам, философам и ученым. В ход шли и личное обаяние, и остроумие, и богатые подарки. По выражению С. Макашина, «“покровительство” французским просветителям великолепно служило целям европейской рекламы “просвещенного самодержавия”, в искусстве которой Екатерина не имела себе равных» [296, с. XIV]. Перед ласкательствами императрицы трудно было устоять. Ближайшие ее сподвижники действовали в том же направлении. В 1766 г. Григорий Орлов приглашал в Россию Ж.-Ж. Руссо. «<...> В 60 верстах от Петербурга, — убеждал он философа, — у меня есть поместье, где воздух хорош, вода удивительна, пригорки, окружающие озера, образуют уголки, приятные для прогулок и возбуждающие к мечтательности. Местные жители не понимают ни по-английски, ни по-французски, еще менее по-гречески и по латыни. Священник не знает ни диспутировать, ни проповедовать, а паства, сделав крестное знамение, добродушно думает, что сделано все» [44, с. 40]. Руссо, сославшись на нездоровье, от предложения вежливо отказался [23], но какой же должна была представляться прославленному философу Россия после подобного письма?

Впрочем, ласкательное отношение к французам оправдывало себя не всегда. Так, в 1791 г. в Россию по приглашению Екате-

рины II явился французский придворный литератор Сенак де Мейан, предложивший императрице свои услуги по написанию российской истории [137, с. 52–53]. Мало сказать, что «Владычица Севера» так и не дождалась обещанной истории, она столкнулась с трудностями, которые вовсе не окупались образованностью французского гостя. Уже в 1792 г. императрица в следующих выражениях запросила помощь у графа Н. П. Румянцева: «По прибытии моему сюда Мельян оказался как бы сотканым из претензий смешных и докучных <...>. Сначала он хотел строить финансовые планы; затем сделаться министром финансов; затем — посланником в Константинополе; затем — писать историю и, под конец, не остановился ни на которой из этих мыслей. После того он высказал мнение, что он не мог быть умен в России, потому что там слишком холодно, и затем уехал. <...> Я назначила ему 500 руб. в месяц; теперь он просит меня выдать ему это содержание за несколько лет вперед <...>. Если вы можете, обещаю ему за два или за три года вперед, освободить нас от самого пенсионера и от пенсии, право, вы этим окажете мне услугу. <...> Если он <...> напишет историю — беда тем, которые будут ее читать; впрочем, я убеждена, что он ее вовсе не напишет или напишет плохо, потому что не знает ни языка, ни страны» [58, с. 96]. И все же, как правило, дело пропаганды шло у Екатерины II успешно, и, по выражению современного немецкого исследователя Х. Грасгофа, «не было недостатка в голосах, восторженно воспевавших “северную Семирамиду” и ее правление» [143, с. 94].

Между тем, политическая картина постепенно менялась, и в соответствии с этим официальным кругам России приходилось менять тактику борьбы за свой имидж. Впрочем, кажется, император Павел так и не выработал в этом отношении сколько-нибудь уверенной позиции. Зато Александр I в полной мере воспользовался условиями исторической ситуации. Его высокий европейский престиж был куплен блеском российского оружия, гуманностью и образованностью российских офицеров и его собственными либеральными намерениями. Своеобразную, сложную и, как выяснилось, совершенно бесперспективную тактику выбрал Николай I. Мы уже ссылались на исследование Тарле, по наблюдениям которого европейский престиж российского самодержавия за время царствования Николая Павловича потерпел полный крах. Помним мы и те попытки, которые предпринимал Николай, чтобы, используя личное обаяние, заставить служить

своему авторитету европейских дипломатов и литераторов. Однако этим «рачением» императора о собственном и национальном имидже за рубежом не ограничивалось.

От Николая, разумеется, не могло скрыться, что российское могущество, олицетворенное его персоной, стремительно превращалось в предмет всеевропейской ненависти. Думается, в некоторые моменты Николай чувствовал неразрешимость этой проблемы. В феврале 1836 г. он делился с князем Паскевичем: «<...> Среди всех обстоятельств, колеблющих положение Европы, нельзя без благодарности богу и народной гордости взирать на положение нашей матушки России, стоящей как столб и презирающей лай зависти и злости, платящей добром за зло и идущей смело, тихо, по христианским правилам к постепенным усовершенствованиям <...>» [46, с. 18]. Достаточно вспомнить, что эти слова принадлежат человеку, обладавшему совершенно неограниченной властью и возможностями, чтобы понять, насколько отчаянным было его признание собственного бессилия перед иностранным «лаем зависти и злости». Он использует штампованную официально-патриотическую фразеологию и будто старается в письме к Паскевичу ободрить самого себя, скрыть собственное поражение громкими фразами.

Беспомощность в пропагандистской борьбе диктовала Николаю Павловичу единственно возможную в его положении роль — роль гиганта, презирающего мнения европейской «черни». «Мне уже часто предлагали отвечать на статьи и брошюры, издаваемые за границей с ругательствами на нас, — писал он в январе 1843 тому же князю Паскевичу. — Не соглашался я на это по той причине, что, кроме того, что считаю сие ниже нашего достоинства, и пользы не предвижу: мы будем говорить одну истину, на нас же лгут заведомо; потому неравен бой. <...> Нынешнее усугубление злости возбуждается непонятными действиями Пруссии. <...> Мы идем чисто, прямой дорогой, а вот чем нам платят. Потому и теперь не могу согласиться заводить полемику; пусть лают на нас, им же хуже. Придет время, и они же будут перед нами на коленях, с повинной, прося о помощи» [46, с. 30]. Вроде бы придраться не к чему: сказано зловеще, но величественно! Однако маску презрительного равнодушия императору не удавалось удерживать подолгу. В следующем году он снова писал Паскевичу о «мерзостях, ежедневно появляющихся везде», и гневно восклицал: «В этом роде гаже “les Mystires

Russie”<sup>12</sup> ничего еще не читывал. Прочти» [46, с. 31]. “Les Mystires Russie” — один из многочисленных французских памфлетов, направленных против российского самодержавия. Трудно сказать, почему Николай выделил его в ряду прочих. Логично предположить, что он на все более или менее значительные зарубежные выпады против него реагировал одинаково болезненно и не всегда мог это скрыть.

Это подтверждается множеством фактов. Так, в 1834 г. герцогиня д’Абрантес напечатала пасквильное сочинение о Екатерине II, и это, конечно, не укрылось от зоркого ока российского монарха, поскольку, когда в 1835 г. в русском переводе стали выходить уже вполне невинные «Записки» герцогини, император лично интересовался у министра народного просвещения, не опасно ли их содержание [343, т. 1, с. 171, 494]. Еще пример: когда после смерти Пушкина Николаю была предоставлена опись бумаг поэта, то император оставил у себя секретные записки на французском языке о жизни и смерти Екатерины II [278, с. 525]. А стоило А. Дюма в романе «Учитель фехтования» (1840) описать «секретные» эпизоды из истории дома Романовых, как роман тут же был запрещен в России, а автору запрещен был даже въезд в страну.

Впрочем, на некоторые иностранные сочинения о России запреты накладывались и задолго до воцарения Николая I. Еще в 1763 г. Екатерина II запретила продавать книги, «которые против <...> нас самих и российской нации <...>: Эмиль Руссо, Мемории Петра I <...>» [11, с. 771]. После этого Академия наук разработала правила, по которым книги могли быть отнесены к числу вредных. К сомнительным книгам были отнесены, «особливо из политических, те, в которых сочинители, либо по пристрастию, либо по неимению достоверных известий, ложно писали о России». «Однако благоразумие требует, — говорилось в документе далее, — чтобы, следуя в том примеру других государств, не причислять их к действительно запрещенным, а наблюдать только, чтоб на продажу вывозимы не были». Далее Академия высказывала еще более либеральную мысль и предлагала вовсе не запрещать такие книги, «которые в основаниях своих хотя не сходятся с нашею формою правления <...>, однако дозволены во всех европейских и христианских землях; также прежних и нынешних времен писатели исто-

---

<sup>12</sup> «Тайны России».

рические и политические, которые, между прочим <...> упоминая и о России, погрешили незнанием или писали, утверждаясь на ложных и пристрастных известиях, а хотя бы, наконец, и нашлось что о прошедших временах предосудительно, однако разумные читатели тем тронуты не будут <...>» [11, с. 772].

Николая Павловича подобные «мягкости», разумеется, устроить не могли, и в его царствование вся европейская информация, связанная с Россией, процеживалась сквозь сито российской цензуры. Порою придирки доходили до абсурда. В 1852 г. «С-Петербургские ведомости» сообщили, что в Париже появился новый танец «Мазепа». Министр П. А. Ширинский-Шихматов усмотрел в этом оскорбление «чувства верноподданнического усердия» и сделал строгие выговоры редактору издания и цензору [343, т. 1, с. 344, 525]. В 1853 г. подобной провинностью недовольство власти вызвал «Москвитянин». «Христиан Островский, — сообщал мимоходом журнал, — издал “Славянские письма”, книгу с односторонним взглядом: она не обратила на себя большого внимания парижской публики» [45, кн. 12, с. 258]. Кто-то из чиновников тут же обратил на эту заметку внимание министра народного просвещения, сообщив, что «сочинения о России Фурнье, Кюстина, Головина, Тургенева, Герцена <...> ничто в сравнении с книгою Островского». «Кроме того, что “Славянские письма” его (Х. Островского. — В. О.), — говорилось в доносе, — направлены с какою-то ожесточенною злобою против России; кроме того, что они наполнены гнусною клеветою на наше правительство, в них есть много оскорбительного для самого государя императора и для его царствующих предков». Вывод из обличения был таков, что о подобной книге «не следовало бы, кажется, говорить в русском журнале» [45, кн. 12, с. 258]. Официальная машина завертелась: министр обратился к попечителю Московского учебного округа, попечитель — к редактору «Москвитянина» М. П. Погодину. Последний, правда, весьма удачно нашелся с ответом и заявил, что книгу Островского не читал, а отзывы о ней заимствованы из французских журналов с тою целью, дабы российский читатель увидел, что «даже иностранные журналы осуждают польские выходки» [45, кн. 12, с. 259]. Ответ, видимо, понравился, поскольку история тем и закончилась. Но когда в 1854 г. на сей раз в «Современнике», были упомянуты запрещенные книги — записки о России Кюстина и «История Турции» Ламартина, — редактор и цензор «Современника» получили замечание от министра [191, с. 274].



Порою император Николай I пытался изменить тактику борьбы с иноземными мнениями о своей персоне и о России. В 1835 г. он произнес в Варшаве речь, в которой пообещал полякам в случае их возмущения разрушить Варшаву. Понятно, что эти слова тут же вызвали шум во французской прессе. Тогда, вопреки обыкновению, император пропустил в Россию все критические отзывы о себе и более того — велел перепечатать в «Journal des St.-Petersbourg» иностранную «ругательную» статью о своем выступлении. Каким же был эффект? Читаем дневник Никитенко: «Много говорили <...> о том, как французские и английские газеты и журналы разбрали известную речь к польским депутатам в Варшаве. Государь велел пропустить эти журналы, на которые был изготовлен ответ и напечатан в петербургской французской газете. <...> Журналы эти недолго вращались в публике. Теперь уже не найдешь их ни в одном публичном месте: они отобраны полицией» [343, т. 1, с. 176]. Словом, эксперимент не удался, и впредь доступ «иностранным клеветам» к российскому читателю строго воспрещался.

Причем, в отличие от своей бабки Екатерины, Николай Павлович не спешил советоваться с учеными о том, разумно или нет запрещать ту или иную иностранную книгу о России. В связи с этим любителям старины приходилось прибегать к некоторым уловкам. Любопытный в этом отношении эпизод зафиксирован снова же в дневнике А. В. Никитенко. «Заглянул в записки Флетчера, экземпляр которых как-то ускользнул в Москве от рук полиции <...>, — записал он в начале 1849 г. — “Общество истории и древностей” поступило с молодецкой отвагой, переведа и напечатал их в своих актах. Замечательно следующее: князь <М. А.> Оболенский, доставивший обществу книгу Флетчера в оригинале, расхваливает ее в своем предисловии “за верность сказаний и за беспристрастие”. <...> А в самой книге, например, говорятя такие вещи: описывая всеобщее повальное крепостное рабство в России, автор отчаивается в возможности когда-либо другого порядка в ней; дворянство, говорит он, не имеет никакого корпоративного духа и думает только о чинах и грабежах, народ до такой степени угнетен, что и думать не может о каком-либо противодействии, войско довольно тем, что может жить на счет других и грабить, — все разъединено». «Да, эту книгу действительно нельзя было теперь печатать!» [343, т. 1, с. 323–324] — с горькой иронией заключает Никитенко, имея в виду очевидность аналогий с современной ему Россией.

Запрещенные иностранные источники о России оставались недоступны для ученых, а тем более для широкой публики, и после смены императора. Причем нелепость этого запрета была очевидной даже для высших чиновников. 22 января 1865 г. В. Ф. Одоевский записывал в дневнике: «Говорил с Валуевым и [А. М.] Горчаковым о необходимости вовсе закрыть иностранную цензуру, сохранив ее лишь для книг русских и польских, печатаемых за границей. “Vous prkchez un converti”<sup>13</sup>, отвечал Горчаков. Я рассказал, каким образом лишь посредством запрещенных книг, сосредоточенных в Публичной библиотеке, я с Корфом дали возможность открыть, что “Testament du Pierre le Grand”<sup>14</sup> был сочинен в 1811 году Lenoir’ом [Lesur], агентом полицейским Наполеона. Я указал на “Histoire de Pologne”<sup>15</sup> Ходзько, постоянно у нас запрещавшуюся и достигшую до издания а 10 centimes, где так переименована вся русская история, что Минин и Пожарский представляются бунтовщиками против законного их царя Владислава и Сигизмунда» [367, с. 191]. Разговоры о снятии запрета на иностранные издания так и оставались разговорами, и ученые с большим трудом отыскивали легальный доступ к зарубежным источникам. П. Бартенева, например, в 1868 г. обратился за помощью к служившему в комитете иностранной цензуры Ф. И. Тютчеву. Тютчев принял участие в деле и обратился, в свою очередь, к цензору Петербургского цензурного комитета, «приглашая его, — отвечал Тютчев Бартенева, — не стесняться впредь выдачею Вам, под расписку, запрещенных книг на иностранных языках, предназначенных для Чертковской библиотеки»: «Что же касается до заграничных изданий на русском языке — то впоследствии в последнее время распоряжением высшее начальство предоставило себе исключительное право разрешать по собственному усмотрению выдачу книг, относящихся к этой категории» [524, т. 2, с. 329]. Как видим, «высшее начальство» весьма последовательно усыпало препятствиями путь отечественных ученых к зарубежной информации о России.

Правда, стоит сказать слово и в защиту российских цензоров, в числе которых зачастую приходилось оказываться людям вполне образованным и принципиальным. Часто ли приходилось им

---

<sup>13</sup> Вы проповедуете обращенному.

<sup>14</sup> «Завещание Петра Великого».

<sup>15</sup> «История Польши».

переступать через собственные убеждения и чувства, накладывая запрет на то или иное сочинение о России? Статистики, разумеется, нет, но для иллюстрации приведем характерный эпизод. В 1844 г. цензор Г. Нагеля предложил запретить свободную продажу книги Гейне о вожде Молодой Германии Лудвиге Бёрне (1840) на основании, например, таких высказываний в этой книге (цензор их выписал): «Жаждой деятельности бились наши сердца, когда они (поляки), сидя у камина, рассказывали нам, как много они вытерпели от русских, сколько горя, сколько ударов кнута. К словам об ударах мы прислушивались еще более внимательно, ибо тайное предчувствие говорило нам, что русские удары, которые эти поляки уже получили, — те самые, что нам еще предстоит принять в будущем. Немецкие матери в испуге хватались за головы, слушая, как император Николай, людоед, каждое утро съедает трех польских младенцев, живьем, с уксусом и маслом» [531, с. 648]. Дальше лучше: «Единственная польза, которую они (поляки) принесли нам, это — та ненависть к России, которую они поселяли у нас и которая, постепенно разрастаясь в немецкой душе, тесно соединит нас всех, когда пробьет великий час и когда нам суждено будет защищаться против того страшного великана, что спит сейчас и растет во сне, касаясь стопами душистых садов востока, упираясь челом в Северный Полюс, грезя о новой всемирной империи. Германия должна будет вступить в бой с этим чудовищем, и потому хорошо, что мы рано учимся ненавидеть русских, что эту ненависть возбуждают в нас, что и все другие народы принимают в этом участие... это услуга, которую оказывают нам поляки, скитающиеся ныне по всему свету проповедниками ненависти к России» [531, с. 649].

Конечно, в русле некоторых общественных и научных оценок взять бы нам да и назвать цензора, который не согласен с тем, что «Николай, людоед, каждое утро съедает трех польских младенцев», защитником имперских амбиций. Но если смотреть на ситуацию с позиций исторической дистанции и вспомнить, что ровно через сто лет после «размышлений» Гейне именно этому «страшному великану», что «спал и рос во сне, касаясь стопами душистых садов востока, упираясь челом в Северный Полюс», придется защищаться от соотечественников Гейне, которые, на самом деле «грезя о новой всемирной империи», прославятся неслыханными преступлениями против человечества, и в первую очередь — против поляков; если вспомнить, что даже после всех ужасов войны

этот «великан» не воспитывал в своих гражданах чувства ненависти ко всем немцам, то не захочется ли нам внутренне оправдать реакцию российского цензора? Но тогда, пожалуй, и нас заподозрят в имперских замашках, от чего упаси нас господь!

Потому остановимся лишь на той мысли, что в ряде случаев позиция российского читателя (литератора, цензора) в отношении к иностранным текстам о России могла совпадать с позицией власти. Но прежде чем развить эту мысль, вернемся к вопросу, что николаевское правительство не только следило за мнением о России в Европе, но и пыталось этому мнению противостоять. Ясно, что ограничить доступ иностранных текстов о России к российскому читателю — это полумера, хоть и способная несколько повлиять на отечественное общественное сознание, но бессмысленная применительно к европейским настроениям. Между тем, государственная необходимость требовала поддержания российского престижа в Европе. И потому правительство предпринимало попытки корректировать представления заграницы о России.

Способы выбирались разные. Прежде всего, строго регламентировалась подача информации отечественными периодическими изданиями, поскольку из них зачастую черпала материал зарубежная пресса. Так, политическая и правительственная информация публиковалась только в официальной франкоязычной газете «Journal de St.-Petersbourg»<sup>16</sup>. Великий князь Константин Павлович утверждал, что сообщения этой газеты «служат основой для мнений всех иностранных государств и даже <...> целого мира» [278, с. 38]. В 1829 г. в Петербурге открылась еще и официальная польская газета «Tygodnik», которая также была предназначена влиять на европейские мнения [278, с. 67]. Кроме того, предпринимались специальные издания, толковавшие с официальной точки зрения отдельные политические вопросы. Например, по поводу дела декабристов в Петербурге летом 1826 г. была напечатана на немецком языке книга Эртеля с докладом следственной комиссии, высочайшим манифестом и докладом верховного суда. Книга была разослана по всей Европе и несла европейцам официальную «правду» о восстании декабристов [278, с. 37]. Более того, в Европу отправлялись

---

<sup>16</sup> Как указывает П. Бартенев, «Journal de St.-Petersbourg» был создан в 1812 г. (тогда он носил название «Conservateur») «для противодействия лживым бюллетеням Наполеона и известиям тогдашних французских изданий» [419, с. 0132].

российские агенты-писатели, которые регулярно выступали с опровержениями на европейские публикации о России.

Иностранные авторы, благосклонно писавшие о России, зачастую удостоивались поощрений. В 1838 г. агент российского правительства в Париже Я. Н. Толстой просил Бенкендорфа<sup>17</sup> о гонорарах для ученых: для г-на Шницлера<sup>18</sup>, «составившего благонамеренную статистику о России» (Толстой просил табакерку, а Бенкендорф определил приличную для нее цену — одна тысяча рублей); для г-на Шопена<sup>19</sup>, «написавшего в хорошем духе работу о России» (Толстой просил перстень, а Бенкендорф предписал стоимость — тысяча двести рублей). Государь лично утвердил эти награды [505, с. 583–584].

Русским правительством порою попросту подкупались некоторые европейские периодические издания. Тот же Я. Н. Толстой регулярно подкупал парижские газеты и журналы, иные из которых «подпитывались» из российской казны постоянно: «La France», «La France et l'Europe», «La Revue du Nord», «La Patrie», «L'Assemblée Nationale» и «Constitutionnel» [505, с. 596]. Награда изданиям определялась — по труду. Вот представление Толстого (от ноября 1838 г. — после первого года службы Толстого в роли спецагента) с указанием необходимых гонораров: «1) подписаться на 30 годовых экземпляров газеты «La France»; 2) на 15 экземпляров журнала «La France et l'Europe»; 3) дать редактору газеты «Quotidienne» г. Лоранти золотую табакерку; 4) дать журналу «La Revue du Nord» шесть тысяч рублей единовременно». Бенкендорф подправил последнее предложение: «Лучше по две тысячи рублей в год». А государь все утвердил [505, с. 583].

Как легко догадаться, при столь разносторонней деятельности правительства по укреплению российских позиций в обществен-

---

<sup>17</sup> Забота о поддержании российского престижа в Европе входила в круг обязанностей главноуправляющего III Отделением собственной его императорского величества канцелярии А. Х. Бенкендорфа.

<sup>18</sup> Эльзасский историк И. Г. Шницлер в 1826–1848 гг. жил в Петербурге, был искренне привязан к России и в своих трудах знакомил с нею Европу. Одна из наиболее известных его работ «Империя царей» была написана по-французски и издавалась в Париже и Страсбурге. С 1857 г. Шницлер получал от русского правительства ежегодную субсидию [294, с. 493].

<sup>19</sup> Бывший секретарь и библиотекарь князя Куракина, российского посланника при французском дворе, Жан-Мари Шопен выпустил в 1838 г. в Париже книгу «Russie» [584].

ном мнении Европы требовались люди, способные воздействовать на общественное мнение, то есть, в первую очередь, литераторы. Найти литераторов для подобной миссии было не слишком сложно. И не потому, что российские литераторы сплошь и рядом стремились сотрудничать с пресловутым III Отделением, а потому, что они и без указания Бенкендорфа, по собственной инициативе и не с казенным энтузиазмом выступали в зарубежной печати, полемизируя с европейскими суждениями о России. Зачастую правительству достаточно было лишь признать официально правомочность этой деятельности. Так было, скажем, с князем Элимом Мещерским. Блестящее биографическое исследование Андре Мазона [578] дает отчетливое представление о том, как российский аристократ и литератор — из числа тех, которые, считая своей родиной Россию, однако могли комфортно себя чувствовать лишь в Париже, — по собственному убеждению и призванию занялся пропагандой русской литературы во Франции. Литературные способности обеспечили ему признание французских читателей и создали завидную репутацию светского человека. Его должность при российском посольстве, которую он занял в 1833 г., была лишь формальным обозначением его литературной деятельности и не накладывала на него ни дополнительных ограничений, ни обязанностей. Считаясь на службе, он продолжал литературную работу, подчиненную лишь его собственным творческим и патриотическим побуждениям. Потому-то к его личности не пристал ярлык русского шпиона или агента. Андре Мазон гибко и точно именуется его «интеллектуальным атташе» [578, с. 377].

Пожалуй, более всего у нас написано о Я. Н. Толстом, который был тайным агентом III Отделения и в Париже выполнял миссию блюстителя российского престижа. Сотрудничество с III Отделением, конечно, может запятнать какую угодно биографию, но будем беспристрастны. Участник Отечественной войны, председатель общества «Зеленая лампа», Яков Николаевич Толстой был членом Союза благоденствия. После восстания декабристов от преследований правительства его спасло пребывание в Париже, но и дорога на родину была для него заказана. Лишенный средств к существованию, он пытался зарабатывать литературным трудом. Видимо, не слишком полагаясь на исключительность своего литературного таланта, Толстой сделал ставку на оригинальность тематики: он писал о России и русской литературе. Первая его брошюра — разбор «Русской

Антологии» Дюпре де Сен-Мора — вышла в Париже в 1824 г. В следующем году Толстой выступил по поводу сочинения о России Альфонса Рабба и указывал на ряд неточностей и ошибок, допущенных французским автором. По словам Б. Л. Модзалевского, Яков Николаевич стремился также «заступиться за русских, на которых автор сильно напал <...>, взводя на них разные небылицы». «А таких небылиц, — утверждает Модзалевский, — в тогдашних иностранных сочинениях о России встречалось великое множество, и заграничные писатели были на них очень тороваты» [317, с. 610].

Конечно, Толстым руководил не только расчет на оригинальность «русской темы», не только надежда на прибыль (никакой прибыли труды Толстого так и не принесли); он выбрал для себя ту роль, которая была вакантна и востребована одновременно и русской, и французской литературой. Французской — потому что нужен был литератор, знающий Россию не понаслышке. А русской — потому что нужен был человек, который бы не только писал о России в Париже, но делал бы это с позиций русского. Как раз в 1825 г. об этом шла речь, например, в «Московском телеграфе». Журнал обращал внимание на особый интерес зарубежной прессы к России, но отмечал, что европейские известия о России зачастую ошибочны. В связи с этим «Московский телеграф» высказывал пожелание, «чтобы нашлось у нас несколько человек, которые в состоянии были бы указать ошибки французским, немецким и английским литераторам и в то же время могли бы сообщить им, что нужно» [317, с. 611]. Я. Н. Толстой был именно таким человеком, и его труды были замечены в России.

Когда в 1827 г. он выпустил брошюру [598] с разбором сочинения Ансело о России, то П. А. Вяземский удостоил ее весьма уважительного отзыва. «Мы должны быть признательны нашему соотечественнику, — писал Вяземский в «Московском телеграфе», — за хождение его по нашим делам и радоваться, что наконец нашелся у нас генеральный консул по русской литературе; спасибо ему, что он не дает нас беззащитно в обиду иностранцам. До сей поры мы были вне общего закона <...>, и никакая власть не охраняла нашей личной безопасности. Каждый мог смело преследовать нас ложными доносами перед судом всемирным, лишать нас собственности, даже весьма часто лишать живота, как то бывает с русскими авторами, переводимыми, или

изводимыми, разными переводчиками Людо-Морами<sup>20</sup>. Теперь хотя есть кому замолвить об нас доброе слово <...>. Пожелаем нашему усердному заступнику счастливого продолжения исполнения добровольной обязанности и уполномочим его от лица грамотной России — отстаивать нашу честь и наши выгоды от притязаний европейских грамотеев» [112, т. 1, с. 246]. И Толстой продолжал писать для французов о России.

Между тем, «добровольная обязанность» не упрочивала материального и морального положения Толстого: вернуться в Россию он не мог, в Париже он бедствовал. Проблеск надежды явился лишь в 1835 г., когда ему была заказана биография умершего князя Паскевича. Моментально написанный панегирик снискал для Толстого покровителей и обратил на него благосклонное внимание императора. В 1836 г. Толстого вызвали в Россию для обсуждения его будущей официальной миссии: «защитение России в журналах и опровержение статей, противных России». Толстой стал тайным агентом III Отделения. Почему тайным? Потому что российский официоз был уже настолько скомпрометирован перед Европой, что явный агент российского правительства не смог бы рассчитывать на доверие французской публики. Русский посол Пален одобрял этот ход и сообщал Бенкендорфу, что открытый агент, «бросающий перчатку всем, кто посмел бы хулить Россию, несомненно, погиб бы под ударами своих многочисленных противников» [505, с. 565]. Не станем перечислять всех работ Я. Н. Толстого, скажем лишь, что служба Толстого не принесла ему ни богатств, ни особенных преимуществ. Пожалуй, ему приходилось бывать и слишком ярым патриотом, и панегиристом русского самодержавия, и соглядатаем при парижском обществе. Но эта служба была единственной возможностью для него удержаться на плаву и выполнять дальше свою некогда «добровольную обязанность» отстаивать честь и выгоды России.

Впрочем, далеко не всякий российский литератор (если только он не был, подобно Я. Н. Толстому, подавлен безвыходным стечением обстоятельств), даже разделявший официальную позицию, был готов работать по заказу правительства. Это компрометировало бы его одновременно и в глазах соотечественников, и в глазах Европы. А клеймо «казенного литератора», даже

---

<sup>20</sup> Намек на «Русскую Антологию» Дюпре де Сен-Мора.



когда оно получено незаслуженно, как известно, выводится с большим трудом.

В июне 1844 г. Ф. И. Тютчев встретился в Париже с А. И. Тургеневым и сообщил, что Бенкендорф предлагал ему (т. е. Тютчеву) службу: «писать о России в чуж <их> кр <аях>» [9, с. 87]. Эта информация зафиксирована в дневнике Тургенева. Никаких подтверждений того, что Тютчев согласился на предложение Бенкендорфа, не существует. Скорее всего, он отказался во вполне объяснимым соображениям щепетильности. Правда, в том же 1844 г. Тютчев опубликовал в Германии статью в ответ на издательскую публикацию о русской армии в аугсбургской газете. Тогда Тютчев жил в Мюнхене как частное лицо, но Р. Лэйн не без основания предполагает, что статья «могла быть инспирирована русским посольством, хотя и наполнена искренним пафосом» [293, с. 232]. Зная настроение Тютчева той поры, можно предположить и то, что инспирировать такого рода статью было несложно, для этого вовсе не стоило предлагать Тютчеву, скажем, жалование от лица Бенкендорфа. Тютчев как раз в ту эпоху все больше проникался патриотическим настроением и неприязнью к Западу. Он мог и без чужого внушения написать эту статью, и пафос ее был действительно искренним. В том же 1844 г. Тютчев снова опубликовал в Германии статью «Письмо к господину Густаву Кольбу, редактору “Всеобщей газеты”», где пытался объяснить причину и несправедливость европейской ненависти к России.

После 1848 г. Тютчев написал статью «Россия и революция». Она была представлена императору, который ее одобрил и даже пожелал, чтобы «она была опубликована за границей» [293, с. 232]. Статью в 1849 г. изъявил желание издать в Париже бывший посланник в Мюнхене Поль де Бургуэн. Но вместо изначального названия и имени автора на обложке значилось: «Записка, представленная императору Николаю после Февральской революции одним русским чиновником высшего разряда Министерства иностранных дел». Понятно, что брошюра была воспринята как официальная позиция Петербурга и вызвала самую острую критику. Тютчева, разумеется, это не могло радовать, но он не стал оспаривать ошибку, а поместил в 1851 г. в «Revue des Deux Mondes» очередную статью «Папство и Римский вопрос». Редакция снова изменила заглавие на: «Папство и римский вопрос с точки зрения Санкт-Петербурга». И статья Тютчева снова была воспринята как позиция российского официоза.

Больше Тютчев со статьями за границей не выступал. Французские оппоненты спорили не с ним, а с идеологией николаевской России. Это обуславливало особенную злость полемики и лишало читательского доверия тютчевскую защиту России. То, что Тютчев излагал в статьях не официальную трактовку политической и исторической ситуации, а собственные взгляды, не может вызывать сомнений, поскольку те же мысли были сформулированы им в неоконченном трактате «Россия и Запад» [520], над которым он работал в 1848–1849 гг. и который действительно отражал его видение мира. Однако переубедить европейского читателя было уже невозможно — за Тютчевым закрепилась репутация «царского рупора». Он чувствовал это и не видел смысла ни продолжать свои статьи, ни завершать свой трактат.

А насколько прилипчивым был ярлык «официального автора», говорит, например, тот факт, что в 1853 г., когда Тютчев отправился в Париж, французский посол в Петербурге тут же сообщил министру иностранных дел Франции следующую информацию: «Русское правительство считает нужным противодействовать английской, французской и немецкой прессе, обрушившей на него единодушное осуждение! Для этого оно купило одну газету в Берлине, другую — во Франкфурте и направило в Париж г-на Тютчева, доставившего г-ну Киселеву первый циркуляр, с поручением *поработать* с французскими журналистами! Это незадачливый дипломат <...>, и к тому же литератор, педант и вместе с тем романтик, напечатавший четыре года тому назад в “Revue des Deux Mondes” статью против папства <...>» [292, с. 464]. Ту же информацию направил своему правительству и британский посол. Во Франции за Тютчевым было установлено полицейское наблюдение.

А. Л. Осповат убедительно утверждает [388, с. 472], что не имело смысла посылать Тютчева в Париж для обработки парижской прессы, поскольку этим был занят Я. Н. Толстой. Но тем более очевидно, насколько нежелательной могла стать для российского литератора даже не действительная, а предполагаемая связь с кругами российского официоза.

Впрочем, не для всякого литератора. Всегда существовал разряд литературных наемников, не обремененных принципами и в поисках выгоды готовых братья за любую словесную работу. А, как известно, угождение власти и по сей день является делом весьма выгодным. Правда, нужно угадать, чего желает власть, но — это уж совсем простая задача. Всякая власть желает, что-

бы ее хвалили, и чтобы похвалы раздавались и на родине, и за рубежом. Обратимся к фактам.

В 1839 г. в Россию приехал французский аристократ и литератор Астольф де Кюстин. Император Николай использовал привычную тактику и, желая внушить иностранцу благоприятные впечатления о российской монархии, решил покори́ть его личным обаянием, которое, по разумению императора, заключалось прежде всего в демонстрации собственного величия и твердости воли. Маневр оказался неудачным, причем настолько неудачным, что эффект от него был прямо противоположным ожидаемому: маркиз де Кюстин издал книгу, в которой последовательно разоблачал российский деспотизм и которая тут же стала европейским бестселлером. В России, книгу, понятно, запретили, но, понятно, все ее читали. Следовало создать опровержения. Два из них были написаны в Париже Я. Н. Толстым. Еще одно написал старший советник Министерства иностранных дел К. К. Лабенский; его труд был издан по-французски в Париже (дважды), по-немецки в Берлине и по-английски в Лондоне. Однако успех книги Кюстина был настолько велик, что эти усилия почти не приносили результата.

Власть нуждалась в помощи, и эту помощь предложил один из самых верноподданных литераторов — Н. И. Греч. 31 июля 1843 г. он доносил из Германии помощнику Бенкендорфа Л. В. Дубельту: «Из книг о России, вышедших в новое время, самая гнусная есть творение подлеца де Кюстина». После такого предупреждения следовало предложить свои услуги, Греч умел это делать. «Здесь, в Германии, — писал он далее, — эту книгу жуют и пережевывают, твердя: зачем вы ее не опровергаете? Ваше превосходительство! заставьте за себя вечно бога молить! испросите мне позволение разобрать эту книгу: я напишу разбор ее как можно основательнее и хладнокровнее: без труда и без малейшей натяжки докажу я, что все приводимые Кюстином факты и дела суть сущая ложь <...>. Разбор этот напишу я по-русски и отправлю к Вам на рассмотрение, а между тем переведу его на немецкий язык и по получении соизволения свыше, напечатаю в “Allgemeine Zeitung” с подписью моего имени, а потом издам в Париже по-французски <...>. Ради бога, разрешите, не посрамлю земли русския!» [278, с. 144] Греч начал работу, даже не дождавшись высшего соизволения. Уже 24 августа он пересылал Дубельту готовый текст и просил: «Одобрите — переведу на немецкий язык и напечатаю в журнале “Europe” <...>. Не одобрите: и тут этот труд

не пропадет: Вы найдете в нем свидетельство искреннего моего желания быть и на чужбине <...> полезным моему государю и Отечеству. Повторяю искренне мое убеждение, что мы *должны* опровергать взводимые на нас лжи и клеветы, и это очень нетрудно. Правительство этого делать не должно, а может поручить частному человеку. Все русские, которых я здесь видел, <...> того мнения, что опровержение этих книг и журнальных статей было бы очень полезно. Все убеждали меня писать <...>» [278, с. 145–146]. В голове Греча громоздились грандиозные планы, и, не дожидаясь, как правительство оценит рукопись, он снова писал в Петербург и предлагал создать под своим начальством и за хорошую казенную плату целый штат писателей в защиту России.

Между тем, государственная машина проявляла не слишком пылкий энтузиазм. Рукопись статьи государь, впрочем, одобрил, и Гречу велено было напечатать ее в немецкой газете, а сверх того — «отпечатать особыми брошюрами на немецком и французском языках для распространения за границую сколь возможно в большем числе экземпляров» [278, с. 146]. Но к идее о штате пророссийских писателей Бенкендорф отнесся холодно. Похвалив готовность Греча и впредь опровергать клеветы на Россию, Бенкендорф решил, что «было бы весьма хорошо, если и другие литераторы, не по влиянию нашего правительства, а сами по себе следили бы за подобными статьями и опровергали оные. Приискивать же таких писателей и иметь их под своим влиянием неприлично достоинству нашего правительства, которое не менее того всегда с благодарностию обратит внимание на писателей, трудящихся по собственной воле на пользу оногo <...>» [278, с. 147]. В переводе с официального языка последняя фраза означала, что содержать за границей писательский штат правительство отказывается, но готово платить любому угодившему автору сдельно.

Греч тут же перестроился и решил выставить правительству счет за выполненную работу: в письме к Дубельту он попросил казенные деньги и на публикацию статьи в немецкой газете, и на французский перевод, и на издание брошюр. О гонораре речь не шла, но кому же не ясно, что в подобной ситуации гонорар составил бы разницу между выделенной и реально затраченной суммами? Кроме того, Греч предложил написать совместно с Ипполитом Оже водевиль, где бы высмеивалась поездка Кюстина в Россию. О гонораре Греч снова умалчивал, однако сообщал, что содержатель театра «Porte St.-Martin» «берется дать эту пьесу, но и тут нужно

будет подмазать: Париж хуже нашего нижнего земского суда, без денег ничего не сделаешь» [278, с. 148]. Само собой, в этом случае деньги на «подмазку» парижского театра должны бы были пройти через руки Греча и таким образом составить награду для бескорыстного автора. Впрочем, Греч, видимо, не терял надежду оказать ся на постоянном окладе, и потому восклицал: «Как бы я желал быть агентом нашим и движителем общего мнения в Германии и во Франции в нашу пользу!» [278, с. 148]

Николаевское правительство было искушенным в делах «двойной бухгалтерии», а потому в выдаче каких-либо денег Гречу отказало, причем под предлогом оскорбительно фальшивым: Бенкендорф заявил, что «подкупать журналы для помещения в оных нам удобных статей не было бы согласно с достоинством и всегдашним благородством нашего правительства» [278, с. 148]. Но Греч был не обидчив. Французское и немецкое издание его брошюры понравилось государю. Так что автор вполне мог ожидать награду за свои труды, хоть бы даже в виде перстня или табакерки но... подвела неосторожность. Греч не сумел «приличным образом» соблюсти секретность предприятия, и «Journal de Francfort» неожиданно сообщил о том, что статья Греча против Кюстина была заказана правительством... Таким образом, оказалось, что Греч вместо того, чтобы обелить власть, еще более скомпрометировал ее в глазах европейского читателя. Бенкендорф был в гневе и вынес по делу Греча такой вердикт: «<...> Согласился бы я возратить ему издержки, если бы не читал во всех газетах все подробности предложенного не правительством ему, а им правительству дела. После такой нескромности <...> пусть делает, как хочет и как знает, и со мною прекратит всякую по этому предмету переписку» [278, 151].

Даже если бы Греч выполнил свое дело безукоризненно, сомнительно, чтобы он получил за это большую награду. Патриотизм оплачивался не слишком хорошо. Причем не только при Николае Павловиче. Его преемник тоже не спешил разбрасывать награды. Так, в 1863 г. Александра II возмутила статья в «Revue des deux Mondes» о Польше. М. П. Погодину, который неоднократно писал о Польше без всяких указок сверху, тут же было поручено написать опровержение. Оно и было написано под заглавием «Отповедь французскому журналисту». «Отповедь...» одобрили вице-канцлер А. М. Горчаков и сам государь. Погодин, разумеется, польщенный тем, что его труды, наконец, были замечены правительством, мог рассчитывать на вознаграждение. Однако после

публикации статьи в «Русском инвалиде» о Погодине забыли. Попробовал он представить уже напечатанную статью министру внутренних дел, да тот не принял автора, поскольку в тот момент брлся. Погодину пришлось довольствоваться минимальным гонораром от «Русского инвалида» (38 руб. 50 коп.), поскольку в газете его работу оценили «по расчету за статьи, присылаемые без приглашения редакции» [45, кн. 20, с. 205].

Но вернемся к Гречу. Конечно, дело не в награде Греча. Для нас важны мотивы, руководившие Гречем при создании ответа Кюстину. Зачем он взялся за это? Из желания выяснить истину? По велению патриотического чувства? По служебной обязанности? Судя по перечисленным фактам и обстоятельствам — вовсе нет. Думается, здесь подошла бы хоть и не литературоведческая, а канцелярская, но объективная формулировка: создание текста «ответной рецепции» в корыстных целях.

История знает множество случаев, когда литературные тексты служили корыстным соображениям. Почему бы тексту «ответной рецепции» быть в этом отношении исключением? Говоря откровенно, любитель отечества за деньги Греч вовсе не был исключением. В истории с опровержением на Кюстина на месте Греча легко мог бы оказаться, скажем, его сподвижник Булгарин. Ведь не без оснований М. Лемке предполагал, что Булгарину «давались поручения прославлять в заграничной печати <...> те шаги и меры <...> правительства, которые не пользовались популярностью» [278, с. 269]. А если Булгарин выполнял подобные поручения, чем руководствовался он? Представлением о благе России? В возможность патриотического порыва у Булгарина вряд ли поверили бы знавшие его. Во всяком случае, Пушкин воспринимал его как человека, лишенного искреннего уважения к российскому престижу. После того, как Булгарин допустил в «Северной пчеле» оскорбительную выходку по отношению к предку поэта, Пушкин писал: «Простительно выходцу не любить ни русских, <ни> России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» [442, т. 11, с. 153]. Но оставим предположения. Кажется, истории со статьей Греча достаточно, чтобы заключить, что личная выгода реально могла служить одной из причин создания текстов «ответной рецепции».

Но в связи с этим еще одно наблюдение: текст «ответной рецензии» можно было использовать не только во благо правительству, но и во вред ему. Если власть столь настойчиво пекалась о своей европейской репутации, значит, удары по этой репутации ее серьезно беспокоили. И если французские литераторы наносили почти непрерывные удары в эту «болеву точку», почему бы отечественным оппозиционно настроенным авторам не пользоваться тем же приемом борьбы?

Правительство такую возможность сознавало и пыталось ее исключить. Вполне оправдано утверждение М. Лемке, что именно из этих соображений Пушкину не позволяли выезжать за границу. «Решиться выпустить поэта в Европу, — полагает ученый, — означало, по мнению Николая и Бенкендорфа, собственными руками создать себе врага, который, не вернувшись в Россию, сумел бы сказать о ней жестокую и горькую правду...» [278, с. 491] Если же кто-то получал возможность говорить в Европе нечто невыгодное российскому правительству, этому пытались противодействовать. Например, когда в Петербурге узнали, что скрывающийся в Европе декабрист Н. И. Тургенев задумал написать книгу «Россия и русские», то до него стали доходить «от влиятельных лиц довольно ясные намеки оставить этот труд»: «Ему давали почувствовать, что, по всем вероятностям, за такое молчание может последовать прощение» [468, с. 1971–1972].

Если уж эмигрант Н. Тургенев испытывал на себе давление власти, то литераторы, не покидавшие отечества, тем более должны были взвешивать любое слово, сказанное о России. Вот весьма показательный эпизод. В 1824 г. опальный П. А. Вяземский получил приглашение от издателя французского журнала «Revue Encyclopédique» присылать статьи о России. Нет сомнения, что для поэта, переживавшего свое уединение в имении Остафьево, подобное предложение было весьма лестно. Вяземский регулярно читал это издание, и, наверняка, знал, что оно пользуется известностью в Европе. Однако Вяземский, хоть и отослал в журнал отрывки своей статьи об И. И. Дмитриеве, открыто писать о российской жизни отказался. Причины такого решения он разъяснял редактору журнала М.-А. Жюльену вполне искренне. «<...> Вы просите невозможного, — писал Вяземский, — требуя сведений главным образом о фактах, которые могут характеризовать развитие и успех цивилизации на нашей родине. Разве вы не знаете, что Россия находится в еще совсем младенческом возрасте и

что говорить вам о ней — значит делать крайне жесткую критику той опеки, которая держит ее в состоянии запоздалого детства? <...> Я вижу свою национальную гордость не в том, чтобы торжествовать по поводу того, что у нас есть, а в том, чтобы сожалеть о недостающем» [184, с. 95]. Для опального Вяземского такая откровенность была делом не пустым, и он предупреждал Жюльена: «<...> Удостоверено, что всякий русский или поляк, про которого узнают, что он состоит неофициальным корреспондентом каких-либо иностранных журналов, кончает тем, что попадает на плохой счет у правительства, даже если он и не преследуется за мнения, высказанные им в его писаниях. <...> Постарайтесь, пожалуйста, милостивый государь, проникнуться важностью этих соображений и избавить меня от неприятностей, которые могли бы последовать для меня из нашей переписки <...>. Во всяком случае я вас прошу <...> никогда не называть меня открыто в числе ваших корреспондентов, хотя я с удовольствием носил бы это лестное звание, и сохранить наши сношения в полной тайне» [184, с. 97]. Но какой бы строгой ни была власть, а «несанкционированная» информация из России в Европу все же проникала, поскольку некоторые российские авторы находили-таки возможность использовать европейскую трибуну для атаки на престиж российского самодержавия. Причины для таких нападений были разными, но условно их можно разделить на причины личные и причины идеологические. Начнем с личных.

В начале 1843 г. в России стало известно о вышедшей в Париже книге «Notice sur les principales familles de la Russie»<sup>21</sup>. Издание было подписано псевдонимом «граф Альмагро», но Я. Н. Толстой доносил, что автором книги является князь П. В. Долгоруков. «Все были поражены непочтительностью его отзывов о лицах высокопоставленных <...>, — сообщал Толстой Бенкендорфу. — Эта брошюра <...> весьма некстати изображает русское дворянство в самых гнусных красках, как гнездо крамольников и убийц. <...> Опубликование этого памфлета кажется мне настолько противным интересам моего правительства, что я не колеблясь решил обратиться на него внимание вашего сиятельства. Столько уже французов рвут на части Россию и клеветают на нее, что если еще и русские в свою очередь и с большими шансами на правдивость,

---

<sup>21</sup> «Заметки о главных российских фамилиях».



начнут изрыгать на свою родину хулы и клеветы, слишком уж трудно будет задача для нас, ее защищающих» [278, с. 529–530]. История российского двора и наиболее знатных фамилий была одним из самых уязвимых мест российского официоза. В Европе и без того ходило множество легенд о российских цареубийствах, о фаворитизме и т. д. А тут весь «компромат» был изложен с документально-исторических позиций человеком, хорошо знающим и Россию, и российскую аристократию. Понятно, что автора книги тут же потребовали в Петербург. И он, правда, после колебаний и под давлением, но все же решился ехать.

Спрашивается: зачем П. В. Долгоруков напечатал свою книгу, а если уж напечатал, почему решился вернуться на родину? Обрисуем ситуацию. П. В. Долгоруков воспитывался в Пажеском корпусе, после чего занялся историческими исследованиями. Как представитель знатного рода интересовался в первую очередь российскими родословными. В 1841 г. он отправился в Париж для продолжения своих разысканий. Естественное любопытство подстрекало интерес ко всякого рода секретным документам о «тайнах российского двора», хранившимся в Европе. Наконец накопился богатый материал, равно интересный как для русских, так и для иностранцев. Видимо, Долгорукова подмывало и честолюбие исследователя, и удаленность от российских властей, и природная склонность к авантюризму (тогда, кстати, ему было 26 лет) — он не смог устоять против искушения и опубликовал книгу. Кроме того, судя по донесению Я. Н. Толстого, Долгоруков намеревался шантажировать российское правительство и за будущее молчание в Европе вытребовать себе солидное положение в России [278, с. 530].

Расчет был авантюрен до предела, но не вполне ошибочен. Уже по дороге в Россию Долгоруков написал письмо императору, где заявил: «Верное описание всех ужасов нашего прежнего быта <...>, ужасов, еще от нас не отдаленных, но уже столь чуждых нынешним нравам и понятиям нашим, такое описание едва ли не послужит <...> самую красноречивую похвалой необыкновенной быстроте успехов наших на стезе образованности, невероятной быстроте нашего развития умственного и нравственного, развития, коим мы более всего обязаны двум государям: Великой Екатерине и вашему императорскому величеству» [278, с. 535]. Словом, свою провинность Долгоруков изображал как заслугу и намекал на то, что его способности могут быть полезны императору.

Император, однако, разгорячился, арестовал князя и сослал его в Вятку, а Я. Н. Толстому было поручено разыскивать во Франции те секретные документы, которые послужили материалом для скандальной книги Долгорукова. Однако не прошло и года, как император позволил Долгорукову «жить в Москве, так и во всех губерниях, исключая Петербурга» [278, с. 543] — то есть шантаж Долгорукова начинал оправдывать себя. Тогда князь, видимо, воодушевившись, стал выпрашивать для себя дополнительные льготы: внеочередные чины и право проживать в Петербурге. С чинами дело не заладилось, но въезд в Петербург в 1852 г. князю был разрешен.

В 1853 г. Долгоруков решил продемонстрировать властям пользу от своих исторических разысканий: он подал в цензурный комитет первую часть «Российской родословной книги». Теперь уж, конечно, перед читателем предстали только светлые страницы российской аристократии. Книга была пропущена, причем публиковалась — в типографии III Отделения.

С воцарением Александра II честолюбивые планы Долгорукова возобновились. Мало того, что он преподнес монарху очередную часть «Российской родословной книги», он еще и предложил составить для заграницы на французском языке и в благонамеренном духе «Исторический словарь русского дворянства», который полностью нивелировал бы скандальный эффект от книги, некогда изданной под псевдонимом графа Альмагро. Государь одобрил проект, и книга вышла в Брюсселе в 1858 г. После такого успеха Долгоруков решил добиваться за свои услуги ни много ни мало — поста министра внутренних дел [51, с. 25]. Однако никакого поста он не получил, навсегда обиделся и в 1859 г. тайно покинул Россию.

Сидеть сложа руки было не в его манере, и он решил снова обратить свое оружие против российских властей. В 1860 г. он писал в III Отделение из Парижа: «Что же касается до сволочи, составляющей в Петербурге царскую дворню, пусть эта сволочь узнает, что значит не допускать до государя людей умных и способных. Этой сволочи я задам не только соли, но и перцу» [51, с. 25]. Угроза не была блефом: в том же году Долгоруков издал в Париже на французском языке книгу с предсказуемым названием: «Правда о России», а в 1861 г. переиздал ее по-русски. Понятно, что удар этот был не смертельный, но весьма чувствительный. «<...> Книга разоблачает все слабые стороны нашего положения, — доносил российский посланник из Парижа. — Пока они обсуждались только

иностранными писателями, до тех пор отсутствие у них основательных знаний подрывало в корне авторитетность их суждений <...>. Под пером же русского автора, и притом с высоким общественным положением, эти слабые разоблачения получают серьезное значение <...>» [51, с. 27]. Неугомонного историка следовало унять. Правительство попыталось использовать уже испытанный ход и, пригрозив ссылкой в Сибирь, потребовало возвращения Долгорукова в Россию, но обиженный автор, вместо того, отправил шефу жандармов свою фотографию с предложением ее и сослать «в Вятку или в Нерчинск» [51, с. 28]. Тогда Долгорукова лишили титула и прав состояния. Кроме того, против Долгорукова спровоцировали судебный процесс — князь М. С. Воронцов обвинял его в шантаже. Долгоруков процесс проиграл, но в отместку опубликовал скандальные материалы об истории рода Воронцовых.

Долгоруков отлично сознавал цену своим знаниям. Как помним, сначала он использовал их как предмет шантажа, потом — как средство подкупа власти, теперь — они стали орудием его мести. Для публикаций «компромата» в 1860 г. он создает в Лейпциге специальный журнал, который позднее менял свое название и место издания, но сохранял неизменным содержание — критика российских порядков и правительства [51, с. 93]. Скандальность материалов и поза изгнанника должны были обеспечить Долгорукову доверие публики. «Я хочу записать, — предварял он одно из своих сочинений, — все, что я видел, слышал от других и узнал, с полной искренностью и откровенностью. Неоценимое право писать правду я купил моим добровольным изгнанием, рядом тяжелых испытаний и неприятностей со стороны тех, кто хотел бы заставить меня молчать» [171, с. 9]. Постоянные нападения Долгорукова настолько раздражили российское правительство, что после смерти князя III Отделение приняло меры к приобретению его «взрывоопасного» архива [51, с. 100].

Однако зададимся вопросом: как относились к деятельности Долгорукова соотечественники? Не секрет, что, например, аристократическая оппозиция (пусть даже на уровне настроений) существовала всегда, и для этой оппозиции рассказы о «грехах» царствующей фамилии, конечно, должны были оказаться небезынтересными. Известно также, что и легенды, и правдивые истории о тайнах знатных семейств имели в обществе беспрестанное хождение. Так что разыскания Долгорукова (тем более запрещенные!) должны были вызвать у российских читателей живейшее любопытство.

Обратимся к одному документу, который, думается, отражает ситуацию, весьма характерную для российской читающей публики той поры. В Рукописном отделе Национальной российской библиотеки им. Салтыкова-Щедрина хранится дневник Максима Дмитриевича Княжевича за 1842–1843 гг. Автор — молодой человек, сын попечителя Одесского учебного округа Д. М. Княжевича. Поденные записи относятся ко времени жизни семейства Княжевичей в Одессе. Должность отца обеспечивала Максиму Дмитриевичу постоянное общение с преподавателями Ришельевского лицея и членами Общества истории и древностей, со светским обществом Одессы и заезжими литературными и театральными знаменитостями. Частыми посетителями дома Княжевичей были, скажем, М. С. Щепкин и профессор Н. Н. Мурзакевич. В одесском обществе Максим Дмитриевич пересекался, например, с Л. С. Пушкиным и супругой П. А. Вяземского В. Ф. Вяземской. Дневник Княжевича представляет собой любопытную летопись образованного провинциального общества — то есть наиболее типичной «читающей среды». Сам автор — вполне характерный представитель этой части публики. Он вырос в семье литераторов; ему двадцать два года и, с одной стороны, его интересуют все литературные новинки, с другой, — он уже впитал систему представлений и ценностей, свойственных его кругу.

Что же читал молодой образованный человек в Одессе? Естественно, что почти ежедневное чтение составляла официальная «Северная пчела». Но кроме того, юноша читает «Очерки русских нравов» Булгарина. 19 июня 1843 г. Щепкин за обедом у Княжевичей читает «*Разъезд в театре*» Гоголя [235, л. 49]. 22 июня Щепкин читает у Княжевичей гоголевскую «Шинель» [235, л. 51]. Через несколько дней юноша приступает к чтению «Описания Турецкой войны с 1806 до 1812 года» Михайловского-Данилевского [235, л. 58]. 9 июля знакомая Княжевича Титова дает ему прочесть до утра книгу «*Les petites miseres*» [235, л. 64]. А 22 ноября отец читает ему «некоторые из рукописей Н. И. Надеждина» [235, л. 252].

Понятно, что при таком разнообразном круге литературных интересов молодой человек не мог пройти мимо нашумевшей книги Долгорукова «*Notice sur les principales familles de la Russie*», вышедшей, как помним, в 1843 г. 29 ноября Максим Дмитриевич записал: «<...> Читал маленькую французскую книжонку, изданную каким-то к. Долгоруковым в Париже: сведения о главнейших русских фамилиях, весьма интересная и скандальная» [235, л. 262]. Книга, действительно,

оказалась интересной, поскольку уже на следующий день Княжевич ее дочитал и записал в своем дневнике следующее: «Окончил читать книжку Долгорукого — русского, в которой очень много любопытных сведений о некоторых российских фамилиях, но признаюсь, русскому и аристократу совсем не следовало выставлять своих в таком насмешливом виде перед чужим народом» [235, л. 263]. Последняя фраза, как думается, отражает мнение большинства российских читателей: узнать скандальные секреты, конечно, интересно, но зачем же афишировать отечественную грязь перед иностранцами? Таким образом, Долгоруков импонировал российскому читателю знанием любопытных фактов, но отталкивал тем, что ранил патриотическое чувство и нарушал дворянскую этику. Заметим, что это процитированное заключение принадлежит человеку, который не был лично задет в сочинении Долгорукова. Какова же могла быть реакция Максима Дмитриевича, когда через пару десятков лет он сам стал объектом долгоруковских атак?

18 марта 1861 г. в Лейпциге в журнале Долгорукова «Будущность» появилась очередная разоблачительная статья «О том, что происходит в Министерстве финансов». Министром финансов России в ту пору был родной дядя Максима Дмитриевича — Александр Максимович Княжевич. Понятно, что с него и началось разоблачение. Долгоруков напрочь отказывал министру в таланте, энергии и настойчивости характера. «Александр Максимович, — узнавал из журнала Долгорукова европейский читатель, — и в Государственном совете, и в Комитете министров отделяется всегда молчанием да потом и подписывает всякую нелепость, какую только состряпают в этих двух государственных кухнях. <...> Система Княжевича — полумеры, действия ощупью, нерешительные и робкие» [172, с. 358–359]. Эти отзывы — еще полбеда. В конце концов, критика слабых способностей чиновника, во всяком случае для Европы — вещь довольно обыкновенная. Но в декабре того же года журнал Долгорукова снова напал на Министерство финансов. Министр снова был охарактеризован как «человек слабый, устаревший» [172, с. 362]. А кроме того, в прицел критики попали еще и два министерских племянника: сам Максим Дмитриевич, бывший тогда чиновником по особым поручениям при своем дядюшке, и его младший брат Антонин. «Не занимая в Министерстве никаких должностей, — говорилось в журнале о братьях, — они пользуются большим влиянием и творят чудеса беззакония. Положение, как видите, весь

ма выгодное в материальном отношении и вместе с тем безответственное, потому что они действуют на директоров именем дяди, сами оставаясь совершенно в стороне. Нет дела в министерстве, более или менее *интересного*, в котором бы они не приняли самого живого участия, — особенно Макс, с иностранной какой-то бляхой на груди. <...> Макс и Антонин Княжевичи, под прикрытием своего дяди-министра <...> могут спокойно продолжать свое ремесло, не боясь поплатиться за это ни личной свободой, ни даже положением в свете. В России все это сходит с рук» [172, с. 364–365]. В подобном духе Долгоруков продолжал поминать Княжевичей и после. Мы не знаем о реакции Максима Дмитриевича Княжевича на эти выпады, но надо полагать, подобная европейская слава в восторг его не приводила.

Если поначалу Долгорукова упрекали за непатриотическое поведение и бестактность, то теперь многие получили основание ненавидеть его за личные обиды. Когда в 1843 г. Я. Н. Толстой возмущенно писал Бенкендорфу о первом французском сочинении Долгорукова, он, разумеется, руководствовался не только служебным долгом. Он рассуждал приблизительно так же, как Максим Дмитриевич Княжевич: видел в поступке Долгорукова национальную бестактность, удар по патриотическим чувствам. Теперь, когда в «Правде о России» Долгоруков назвал Толстого шпионом российского правительства, Толстой оказался оскорбленным лично и собирался вызвать Долгорукова на дуэль [51, с. 104]. Точно так же были оскорблены еще очень многие; прочие — в любой момент ждали удара со стороны распоясавшегося изгнанника.

Вроде бы такое положение наделяло Долгорукова серьезным влиянием. Пожалуй, Долгоруков с помощью своих критических выпадов (которые хотя и были переполнены импульсивными, скоропалительными обвинениями)<sup>22</sup>, но все же содержали значительную долю

---

<sup>22</sup> Даже исторические записки Долгорукова проникнуты значительной долей субъективизма. Хотя многие исследователи и критики указывают на ценный фактический материал, используемый Долгоруковым при реконструкции российских родословных. Так, в 1855 г. Н. Г. Чернышевский, опубликовав в «Современнике» рецензию на две первые части «Российской родословной книги», отмечал, что этот «огромный труд» «заслуживает полной признательности со стороны всех, занимающихся русскою историею». «Важность этой книги, — продолжал Чернышевский, — равняется трудности ее составления» [556, с. 647]. Однако существовали и противоположные отзывы. Так, А. Васильчиков, восстанавливая историю рода Нарышкиных, заявлял, что многие сведения, приводимые Долгоруковым в его скандальном *французском* издании, недобросовестны [95, с. 1491].

объективной информации) мог нечто изменить в российских порядках, которые столь ярко обличал. Но, кажется, Долгоруков и не задавался целью менять российское жизнеустройство. Его творчество не зиждилось ни на каких принципиальных соображениях, оно было личной мезью аристократа российской верхушке. И потому, думается, отношение российской публики к Долгорукову наиболее верно определено исследователем его деятельности С. В. Бахрушиным: «В Петербурге его (Долгорукова. — В. О.) <...> боялись не тем сосредоточенным и почтительным страхом, который вызывал Герцен, а тем страхом, который почтенное и приличное мещанство испытывает перед озорством хулигана» [51, с. 91]. Долгоруковский текст об отечестве не имел ни государственной, ни общественной поддержки в России, он воспринимался как уродливое пятно на полотне национальной «ответной рецепции», сотканном усилиями литераторов самых разных направлений и политических взглядов.

Личность и деятельность Долгорукова не были совершенно оригинальны. Приблизительно в одно время с ним на подобное поприще, хоть и с еще менее значимым результатом, вступил еще один российский литератор — И. Г. Головин [278, с. 555–572]. Человек без определенного рода занятий, он в начале 1843 г. начал печатать в Париже свою книгу «Дух политической экономии». Российское правительство заподозрило, что в книге может заключаться какая-никакая крамола, и затребовало автора в Петербург. Испуганный Головин решил подольститься и... издал в Париже свое опровержение на книгу Кюстина. Однако эта брошюра не была оценена правительством, которое продолжало требовать возвращения Головина на родину.

Головин оттягивал отъезд до тех пор, пока его не лишили дворянского звания и состояния. Тогда он навсегда остался за границей, вознамерился мстить властям и издал в Париже в 1845 г. книгу «La Russie sous Nicolas I»<sup>23</sup>. Несмотря на ее бледное содержание, она была переведена на несколько языков. В 1850 г. Головин вознамерился обрести более регулярную трибуну и основал в Ницце журнал «Carillon»<sup>24</sup>, в котором помещал фельетоны под общим названием «Les prussiens, les russiennes et les autres chiens a Nice»<sup>25</sup>. Поскольку из Ниццы Головина вскорости выдворили, он обосновал-

---

<sup>23</sup> «Россия под Николаем I».

<sup>24</sup> «Трезвон».

<sup>25</sup> «Пруссаки, русские и другие изюминки Ниццы».

ся в Турине, где снова открыл журнал и публиковал фельетоны под заглавием «Portraits et esquisses russes»<sup>26</sup>. Когда Головина изгнали и из Турина, он отправился в Лондон и искал там применение своим дарованиям и знаниям о России. Однозначно, что егоopusы пользовались в России гораздо меньшей известностью, чем сочинения П. В. Долгорукова. Не могли они пользоваться и поддержкой российской публики. Личность и труды Головина оценивались негативно даже соотечественниками-эмигрантами. Слишком очевидны были не только бездарность автора, но и отсутствие у него убеждений и привязанностей. Любопытной иллюстрацией для заграничной деятельности Головина может служить эпизод, рассказанный в «Былом и думах». «После смерти Николая, — вспоминал Герцен о Головине, — он поместил в каком-то журнале ругательную статью против новой императрицы, подписав ее псевдонимом — и через день в том же журнале возражение за своей подписью. Наш приятель Кауфман <...> обличил эту проделку, и об ней прокричали десятки журналов» [127, т. 6, с. 420].

Трудно представить, чтобы Долгоруков или Головин были терзаемы противоречиями и душевными муками, когда выставляли перед Европой неприглядные стороны своего отечества. Личные амбиции и выгоды у них, кажется, без труда перевешивали чувство патриотической щепетильности. Возможно, этого не брал в расчет читатель европейский, но в глазах соотечественников это служило указанием на нравственную неполноценность авторов. Тем более что в качестве сравнения на виду у европейской и российской публики была гораздо более значительная личность русского изгнанника, для которого конфликт патриотических чувств с идеологическими соображениями составлял и личную драму, и творческую проблему. Речь идет об А. И. Герцене.

Воспитанный на рассказах об отечественной войне, Герцен, по его собственному признанию, рос «отчаянным патриотом» [127, т. 4, с. 21]. Однако общеизвестные факты его дальнейшей биографии мало-помалу исказили чувства к отечеству. В 1847 г. Герцен уехал во Францию и, кажется, покидая родину, не испытывал острого сожаления. Его гораздо больше занимали путевые впечатления и надежды оказаться в обществе, не подчиненном давлению деспотизма. Ощущения Герцена той поры отразились в

---

<sup>26</sup> «Русские портреты и наброски».



брошюре «О развитии революционных идей в России»: «Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель — царь, а всякий царь — полицейский надзиратель? Кто из нас не предавался всевозможным страстям, чтобы забыть этот морозный, ледяной ад <...>?» [127, т. 3, с. 469]

Эйфория от европейской жизни длилась недолго. Пронаблюдая крушение революции и обнаружив во Франции почти столь же необузданный деспотизм, от которого бежал из России, Герцен пережил внутренний кризис не только убеждений, но, думается, и ощущений. «Чудовищная империя» все так же вызывала ненависть, но родина все чаще занимала мысли Герцена. 1 марта 1849 г. в Париже он написал обращение к друзьям «Прощайте!», в котором объяснял соображения, принудившие его остаться за границей. «Дорого мне стоило решиться, — признавался Герцен, — вы знаете меня... и вы поверите» [127, т. 3, с. 239]. Привязанность к родине диктовала Герцену выбор жизненных целей, перенаправляла его внимание от космополитических задач к исключительным интересам отечества. А потому уже тогда, в обращении 1849 г., он сообщал друзьям: «Для русских за границей есть <...> дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает <...>. Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов; который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральной палкой казарменной дисциплины и под кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния, и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным появлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа, они его только боятся, надобно им знать, чего они боятся» [127, т. 3, с. 244].

Большинство из приведенных слов Герцена, хоть и не могли произнести вслух, но, наверняка, должны были принять с сочувствием очень многие русские: от литераторов до чиновников и от

западников до славянофилов. Что и говорить, дело предложено патриотическое и благородное. Да и оправдание этому начинанию Герцен формулирует вполне традиционное и скорее эмоциональное, чем идеологически обоснованное: «пусть узнают европейцы своего соседа...».

Впрочем, уже испробованные пути ознакомления Европы с ее соседом Герцен вряд ли мог принять. Еще в 1843 г. он написал очерк (правда, не опубликованный в то время) «Ум хорошо, а два лучше», где иронизировал над потугами некоторых литераторов репрезентовать Россию европейцам. «Главная цель литераторов, о которых идет речь, — замечал он, — ознакомить мир с Россией, если и не удастся, то намерение похвально. С этой целью Греч издал формулярные списки всех русских авторов, составил книгу о России, которую вряд ли читал сам Греч; Погодин приобрел известность своими неизданными трудами; Шевырев восстанавливает Русь, которой не было и, слава богу, не будет» [127, т. 2, с. 405]. Теперь, становясь на ту же стезю — «ознакомить мир с Россией», Герцену приходилось вырабатывать собственное видение целей и тактики подобной пропаганды.

В 1849 г. он написал статью под характерным названием «Россия», поместил ее в немецкое издание книги «С того берега» и перепечатал на французском языке в парижской газете «La Voix du Peuple». Вряд ли в то время Герцен стремился к формулированию и теоретическому обоснованию своей цели. Однако эта цель, кажется, легко восстанавливается, исходя из содержания статьи. Герцен развивал ту мысль, что общинные установления российских крестьян должны явиться не только основой справедливого социального строя в самой России, но и могут стать источником общеевропейских усовершенствований.

После провала недавней французской революции он желал представить Европе некий образец человека, наиболее подготовленного к социальным преобразованиям. Этот образец, по Герцену, олицетворял российский крестьянин. То есть, теперь пропаганда правды о российском народе становилась для Герцена не просто патриотическим порывом, но и результатом идеологических построений, применимых, по его мысли, не только к России, но и к европейским странам. Однако внушить европейцам мысль о столь масштабном значении русского народа было непросто. Герцен осознавал, что основным препятствием на этом пути являются бытующие в Европе предубеждения. «Все путешественники, —

писал он, — отдают должное русским крестьянам, но они кричат об их бесстыдном плутовстве, религиозном фанатизме, идолопоклонстве перед императорским тронном» [126, т. 6, с. 210]. Как же оправдать российский крестьян? Герцен утверждает, что перечисленные недостатки не в природе русского народа, а лишь неизбежная реакция на крепостное рабство и деспотизм. Само собой, что подобная позиция влечет противопоставление изначально позитивных, исконных качеств русского менталитета тем уродствам, которые из века в век прививались народу российским деспотизмом. Герцен и обозначает в статье это противопоставление, заявляя, что в России уже существовали попытки избавиться от деспотического жизнеустройства.

Теперь эта мысль стала для Герцена стержневой, и именно ее он ставит во главу угла в брошюре «О развитии революционных идей в России», которая, по сути, является расширенным, доосмысленным вариантом только что цитированной статьи. Чтобы доказать, что ненависть Европы ко всем русским как к царским рабам несправедлива, Герцену необходимо было, во-первых, объяснить, что эта ненависть спровоцирована вовсе не народом, а российским правительством, а во-вторых, раскрыть перед европейским читателем историю противостояния русского общества властям.

Объяснимо, что основную часть книги составила критика российского самодержавия и его политики. Отыскивая зачатки европейской ненависти к России, Герцен заявлял: «Оба раздела Польши явились первым бесчестьем, запятнавшим Россию. <...> Поход Павла в Швейцарию и Италию был совершенно лишен смысла и лишь восстановил общественное мнение против России. <...> Не хватало лишь яростной борьбы Польши, чтобы решительно поднять все народы против России. <...> Со всех сторон, на всех европейских языках раздались громовые проклятия России. Гнев народов был справедлив...» [127, т. 3, с. 391–392]. Ответственность за это Герцен возлагал на отечественный деспотизм, доказывая, что российский народ страдает под гнетом российского правительства более, чем какой-либо другой. В устах Герцена это не была слезливая жалоба на тяжкую долю, способная вызвать сочувствие, но отнюдь не уважение к народу. Герцен восстанавливал последовательную, исторически развивающуюся модель сопротивления российского общества деспотической власти, того сопротивления, которое оставалось тайной для Европы. «Порою в России, — сообщал Герцен, — совершаются целые революции,

но это остается вовсе не известным за границей вследствие недостатка гласности и общей немоты» [127, т. 3, с. 443]. И далее Герцен рисовал европейскому читателю черты русского характера, возводящие русскую народность с уровня «царских рабов» на уровень одного из наиболее перспективных народов Европы.

Но вернемся к вопросу о герценовской критике российского правительства. Понятно, что у Герцена было не менее, чем у князя Долгорукова, поводов ненавидеть отечественные власти. А учитывая, что Герцен обладал более значительными литературным талантом и известностью, можно предположить, что и мсть его русскому правительству, выраженная в антиправительственных публикациях, оказалась бы убийственной. Однако именно это желание личного мщения менее всего проглядывает в работах Герцена. Обратимся к характерному эпизоду из «Былого и дум». Герцен описывает ссыльного архитектора А. Л. Витберга, с которым познакомился в Вятке. Перед читателем предстает один из множества людей, чья судьба и талант были погублены российскими порядками. Этот эпизод — один из множества герценовских обвинений российскому деспотизму. Герцен завершает рассказ следующей фразой: «Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе, *я тебе за это отвечаю*» [127, т. 4, с. 289]. При желании это высказывание можно было бы расценить как жажду мести. Но можем ли видеть желание мести там, где отчетливо просматривается желание справедливого возмездия?

Итак, мы продемонстрировали, что первыми импульсами, побудившими его начать российскую пропаганду в Европе, явились чувство патриотизма, желание добиться справедливых европейских оценок для своих соотечественников. Затем в ходе осмысления политической реальности у Герцена родилась мысль о целесообразности применить в будущем социальном переустройстве Европы некоторые исконно российские нормы общежития. А это идеологическое построение снова же побуждало к пропаганде позитивных качеств русского менталитета. Но подобная задача неизбежно требовала от автора доказать Европе, что российское общество не только не является эквивалентом ненавидимого всем миром российского официоза, но что это общество противопоставлено российским властям и ведет с ними непрерывную, тяжелую борьбу. И чем ярче и рельефнее под пером Герцена проступали черты российского деспотизма, тем притягательнее и достойнее в глазах европейского читателя выглядел противостоящий этому деспотизму народ.

Брошюра создавалась на основе давно вызревавших мыслей и была написана явно на подъеме. В 1851 г. Герцен опубликовал ее на немецком и французском языках. Оставалось ждать европейской реакции. И здесь Герцена поджидало первое разочарование, которое ясно показывало, что одной брошюры для обновления российского имиджа недостаточно. Еще летом 1851 г. Герцен преподнес брошюру «О развитии революционных идей в России» французскому историку Мишле. Мишле похвалил ее, но тут же, публикуя в газете главы из своей книги «Польша и Россия», высказался в том духе, что русский народ лишен самобытности и перспективы развития. Герцен был поражен таким поворотом и уже в сентябре написал «горячий отзыв» [471, с. 638] в форме открытого письма Мишле. Заглавие этого отклика вполне отражает динамику герценовских поисков при создании «ответной рецепции»: «Русский народ и социализм».

Весьма показательное признание, сделанное Герценом в этом письме. «Мы часто сами проклинаем наше несчастное отечество <...>. — говорил он. — Но и для нас проходит время надгробных речей о России, и мы говорим с вами: “В этой мысли таится искра жизни”» [126, т. 7, с. 335]. Действительно, публикации о России, которые создавались русскими, вырвавшимися в Европу из-под властного надзора, содержали прежде всего разоблачения российских порядков, что представляло Россию односторонне и на самом деле напоминало, хотя и злые, но все же надгробные речи. Герцен ощущал это, и потому от публикации к публикации усиливал не разоблачительный пафос, а объем позитивной информации о достоинствах русского народа. И теперь с неослабевающим азартом он снова развивал ту мысль, что русский народ противопоставлен тиранической государственной системе, что этот народ имеет древний потенциал к социализму, выраженный в существовании сельской общины, что он призван сыграть роль обновляющего, социалистического, потока в жизни состарившейся Европы и что европейские предрассудки о качествах русского национального характера лишены справедливости.

Еще до окончания этого письма Герцен прочел очередные главы из книги Мишле и обнаружил, что историк изменил свое отношение к русскому народу, приняв за основу мысли, изложенные Герценом в брошюре «О развитии революционных идей в России». И все же Герцен опубликовал письмо и в газете, и отдельным изданием, поскольку, во-первых, видел в нем новый шаг в развитии своей

идеи, во-вторых, явно рассчитывал на внимание широкой публики, а в-третьих, видимо, считал, что публично высказанные суждения о России требуют публичного же ответа. «Пора показать Европе, — заявлял он, — что, говоря о России, говорят не об отсутствующем, не о безответном, не о глухом» [126, т. 7, с. 335].

Однако вот что характерно: при столь патриотической позиции Герцена, при том, что его пропаганда российского народа давала в Европе очевидные плоды (взять хотя бы реакцию того же Мишле), Герцен вынужден оправдываться за свою деятельность. Причем оправдываться — не перед европейцами, а перед своими соотечественниками. В продолжении открытого письма к Мишле он возвращался к брошюре «О развитии революционных идей в России»: «<...> Моя книга, о которой вы выразились так лестно, произвела в России неблагоприятное впечатление. Дружеские голоса, уважаемые мною, порицают ее. В ней видят обвинение на Россию! Обвинение!.. в чем же? В наших страданиях, в наших бедствиях, в нашем желании вырваться из этого ненавистного состояния...» [126, т. 7, с. 336] Можно себе представить, насколько поразили Герцена эти «дружеские голоса». Ведь позиция Герцена была не результатом сиюминутного настроения. Он выработывал ее постепенно и уже давно излагал в своих откровенных, не предназначенных для чужих глаз письмах в Россию.

Еще в августе 1848 г. он сообщал из Парижа «московским друзьям»: «Ненависть к русской политике велика, но русские начинают более и более заслуживать признание и уважение. Нас не мешают с правительством <...>. Книга Гакстгаузена, экземпляры путешествующих русских — все это возбуждает новое понятие, на нас перестают смотреть с точки зрения кнута, снега и почтовой езды. Нас считают социалистами по преданию. — Я должен сказать, что, сколько от меня зависело, и я не уронил имени русского — ни в Риме, ни в Париже» [127, т. 9, с. 363–364]. Заметно, что в то бурное время уже самую причастность некоторых русских к революционным событиям в Европе Герцен воспринимал как серьезный шаг в деле пропаганды неофициальной России. Но после утраты всякой надежды на социальные преобразования в Европе он начал иначе смотреть на роль России и русских. «Во всем разгроме и падении, — писал он московским друзьям в сентябре 1849 г., — сурово и мрачно вырезывается Россия <...>, каменистое поле будущего; природа не начинает с цветущих лугов, а с гранита. Судьба России колоссальна — но для нас виноград зе-

лен, — если б доля той гуманности, которая дается долгим просвещением, перешла в нравы нашей русско-немецкой бюрократии — я вернулся бы <...>» [127, т. 9, с. 375]. Герцен старался оправдать свою эмиграцию, пытался объяснить близким людям, оставшимся в России, что его европейская деятельность может принести большую пользу отечеству, нежели пребывание в России. Он понимал, что только находясь в Европе, будет иметь возможность выполнять двойную миссию: с одной стороны, выстраивать не официальный, а реальный образ России в общественном мнении европейцев и тем служить своей патриотической привязанности, с другой — представить революционной Европе, оказавшейся в тупике, новый ориентир для социальных перемен — общинные отношения русских крестьян.

Кажется, Герцен чувствовал, что его аргументы не вполне убедительны для московских друзей, не имеющих возможности оценить вблизи политическую ситуацию Европы. Летом 1851 г. он снова писал в Москву и рекомендовал друзьям достать его брошюру «О развитии революционных идей в России». Наверное, он ожидал, что эта работа будет воспринята в России как результат его деятельности одновременно и на благо отечества, и на благо социального прогресса вообще. И он писал: «Зачем вы жалуете об том, что я остался здесь? В сторону самолюбие и скромность, когда был для России такой орган в Европе; вся моя сила, все мои помышления обернуты к вам, — и голос мой получил вес. Не далее еще, как два дня тому назад, я толковал часа два Мишле об России, я их заинтересовал Россией. Что я сделал бы в России с железным намордником? <...> Посмотрите, как в здешнем *revue* «*Liberté de penser*» подробно излагают все, сказанное мною о России, — с этой стороны я не могу упрекнуть себя, что был недейтелен, и не могу думать, чтоб там сделал больше» [127, т. 9, с. 387–388]. И вдруг после этих искренних, дружеских объяснений Герцен обнаружил, что его работа была воспринята российскими единомышленниками как «обвинение на Россию».

Почему это произошло? Точно ответить трудно, но предположить можно. Мы помним, что Грановский строго осудил Герцена за брошюру «О развитии революционных идей в России», увидев в ней угрозу для тех самых революционных идей, которые пропагандировал автор. Отчасти такое опасение было оправданным: в руки российского правительства попадал документ, позволяющий судить о масштабах общественного недовольства, а значит —

указывающий на необходимость подавить это недовольство. А потому Грановский и упрекал Герцена в том, что он, подобно прочим эмигрантам, не учитывает ни реальную ситуацию в России, ни объективные нужды российского общества и своей деятельностью приносит вред России. Обратим внимание, что человек вовсе не близорукий, хорошо знавший и ценивший Герцена, поставил его на одну плоскость с прочими эмигрантами. Как же могли относиться к Герцену люди, знавшие его лишь издали? Его личность и его публикации начинали воспринимать в контексте стереотипных представлений о русских эмигрантах: человек покинул родину и решил выставить перед Европой все ее изьяны. Приведем, к слову, ту характеристику, которую давал русским пишущим эмигрантам М. П. Погодин в 1853 г. Заявив, что они знают Россию даже менее, чем Кюстин, Погодин утверждал, что в их сочинениях «церковь называется ересью, все учреждения считаются дикими, личность беззащитною, литература — безгласною, и вся история вчерашнею». «На месте закона, — заключал Погодин, — они видят везде произвол» [45, кн. 12, с. 534]. После этого ясно, что российский читатель ожидал увидеть в книге Герцена «обвинение на Россию», а потому без труда и находил его, не замечая, что эта самая книга, обвиняя официальные порядки, является одновременно и гимном русскому народу. Позднее в «Былом и думах» Герцен признавался, как нелегко ему было отмежеваться от читательских представлений о типичном русском эмигранте. «Европа и сами поляки, — вспоминал Герцен, — так поверхностно смотрят на Россию, особенно в промежутки, когда она не бьет соседей или не присоединяет целые государства в Азии, что я должен был работать десять лет, чтоб меня не смешили с пресловутым Ivan Golovine» [127, т. 6, с. 420].

Личность эмигранта вообще весьма уязвима для упреков в «непатриотизме». Вот характерный эпизод. В январе-феврале 1854 г., когда Восточный вопрос вошел в кризисную фазу, Герцен написал рассчитанные для публикации в прессе письма В. Линтону, озаглавленные «Старый мир и Россия». Идея была все та же: доказать, что Россия способна дать новое дыхание зашедшей в тупик Европе. Препятствием к этому, по мнению Герцена, был деспотизм, причем не только российский, но и европейский. (Это вообще принципиальная для Герцена установка: подвергать критическому осмыслению не только отечественное жизнеустройство, но и европейское, и здесь, несомненно, проявляется стрем-



ление к объективности). Далее Герцен обрисовывал общеевропейскую политическую систему, в условиях которой деспотические власти всех значительных государств хотя и конкурируют между собой в частностях, но все же выступают неизменными союзниками в вопросе сохранения деспотической формы правления, поскольку видят в этом единственную гарантию собственной незыблемости. «<...> Роковая солидарность, — заявлял Герцен, — соединяет реакционную Европу с царизмом <...>» [126, т. 12, с. 179]. В качестве подтверждения этой мысли Герцен выдвигал тот аргумент, что ни одно из деспотических правительств Европы никогда не решалось и не решается совершенно обессилить российское самодержавие. По мысли Герцена, все столкновения европейских правительств с самодержавием имели целью лишь ослабить российский деспотизм, лишить его конкурентоспособности в мировых вопросах, но сохранить за ним силу для поддержания жесткого порядка внутри России. Яркую иллюстрацию подобных, если можно так выразиться, «междеспотических» отношений Герцен обнаруживал в развитии Восточного вопроса.

Впрочем, этот пассаж нам стоит процитировать. «Если бы революции не боялись еще более, нежели русских, — рассуждал Герцен, — то чего проще, как идти на Севастополь, захватить Одессу. Магометанское население Крыма не было бы враждебно туркам. Попав туда, можно было бы обратиться с призывом к Польше, дать свободу крестьянам Малороссии, ненавидящим крепостное право... Хотел бы я знать, что бы сделал тогда Николай со своим православным богом?

«Но ведь Польша — это Галиция», — скажет Австрия.

«Но ведь Польша — это Познань», — скажет Пруссия.

А если Польша восстанет, как удержать Венгрию, Ломбардию?

Ну так не нужно идти на Севастополь; разве что объявить войну для виду, — войну, которая кончится в пользу Николая или Луи Бонапарта, то есть в обоих случаях в пользу *деспотизма* <...>» [126, т. 12, с. 180–181].

Будущее обнаружило, что Герцен оказался совершенно прав в основном прогнозе: Крымская война лишь скорректировала зоны мирового влияния, но оставила неприкосновенными и российский, и французский деспотизм. Однако Герцен, на свою беду, довольно верно угадал и детали будущей кампании: всего через полгода после написания этих писем войска антироссийской коалиции действительно напали на Одессу и Севастополь, а магометанское население

ние Крыма действительно не было враждебно туркам. Но правду сказать, что для подобных предсказаний и не требовалось особого дара предвидения, поскольку европейская пресса той поры во всеуслышание говорила о нападении на Севастополь. Так что будущий военный десант в Крыму оставался секретом, пожалуй, только для российского верховного командования, которое так и не позаботилось заранее об усилении обороноспособности полуострова.

Тем не менее, когда осенью 1854 г. высадка неприятельского десанта в почти беззащитном Крыму обернулась для России военными бедствиями, высказывание Герцена приобрело вид предательского призыва, указавшего врагу путь к поражению России. Политическому эмигранту стали навязывать репутацию предателя. Так, в 1889 г. «Русский вестник» назвал цитированное высказывание Герцена «изменническим советом» [320, с. 143]. В 1901 г. эту оценку повторил М. Бородин на торжественном собрании Санкт-петербургского славянофильского общества. «<...> Он оказался способен, — обрушивался на Герцена оратор, — изменнически советовать нашим врагам идти на Севастополь, овладеть Одессой и магометанским населением Крыма и дать свободу малороссийским крестьянам» [77, с. 35]. Сколько подобных обвинений прозвучало при жизни Герцена и после его смерти, подсчитывать не беремся.

Однако любопытно, что же более раздражало критиков: сами слова Герцена или его положение русского эмигранта, обладающего свободой оценок и мнений? Для сравнения вспомним такой эпизод. Севастополь был не единственной целью для военного удара со стороны антироссийской коалиции. Английский флот пытался прорваться также к Петербургу, но наткнулся на непроницаемую оборону. Как же отнесся к этому, ну, скажем, хоть официальный патриот М. П. Погодин? А вот как: «Но будет ли худо, если сожгут у нас Петербург? — писал он весной 1855 г. — <...> Едва ли! Может быть, сожжение Петербурга будет для России благодеянием небесным, великим подвигом русского бога, ангела-хранителя нашего, который бдит над нашею судьбою и ведет нас, вопреки нам самим, к великой цели, свыше для нас предназначенной <...>. Петербург исполнил свое. Более он не может причинить ничего, кроме вреда» [45, кн. 14, с. 47]. Эти слова, разумеется, не звучали в европейской печати и не могли иметь того же резонанса, что открытое письмо Герцена. Но ведь верно и то, что высказывания подобного рода о Петербурге не были чужды и

другим славянофилам, кроме Погодина. Нельзя ли расценивать такие заявления, да еще перед лицом реального врага в качестве потенциальной измены отечеству? Пожалуй, если постараться, то можно. Но если сохранять беспристрастие, то к ним стоит относиться так, как, думается, к ним и относились в то время: видеть в них результат идеологического азарта и увлечения словом.

По сути, ситуации совершенно идентичны. Герцен готов жертвовать государственными интересами ради идеи социальной справедливости, а Погодин готов жертвовать тем же самым, но ради идеи национальной самобытности. Однако Погодин, оставаясь в России все же *своим* и рьяным славянофильством мог навлечь на себя разве что обвинение в чудачестве. Герцен был уже не вполне *своим*, он был эмигрантом, врагом отечественной власти, а значит, по мнению многих, изменником. Положение эмигранта заведомо ставило Герцена в положение человека, который, даже обладая самым пылким патриотическим чувством, будет восприниматься значительной частью аудитории как противник своего отечества.

Герцен, конечно, ощущал это, а потому из раза в раз говорил о своей привязанности к родине. «Я страстно люблю Россию и русских <...>» [126, т. 9, с. 349], — писал он московским друзьям в 1848 г. «<...> Умирая на чужбине, — писал Герцен в Россию в 1849 г., — сохрани веру в будущность русского народа и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!» [т. 3, с. 245] А между тем как Герцену приходилось убеждать соотечественников в своем патриотизме, европейская публика упрекала его в излишней благосклонности к России. Так, скажем, за цитированное нами письмо к Линтону, за которое Герцена в России обвинили в измене, в Европе его, напротив, обвинили в панславизме [126, т. 9, с. 629]. В 1854 г. он признавался Шарлю Рибейролю: «Я пытался все же продолжать говорить о России, как делал это ранее, приветствуемый радикальной печатью в Европе и Америке. Опыт не удался. Возмутились тем, что русский изгнанник возымел наглость любить русский народ, не смешивать его с чудовищным петербургским правительством и думать даже, что у славян есть будущее» [126, т. 9, с. 417].

Тем не менее Герцен продолжал свои «опыты» и писал европейцам о России. Причем писал зачастую те вещи, которые должны быть близки многим русским, безотносительно к тому, разделяют ли они социальные устремления Герцена. Нерушимость европейской ненависти к России вызывала раздражение. Сколько бы ни писал он о том, что в порабощении Польши и в других «гре-

хах» повинен не русский народ, а правительство, он беспрестанно встречал упреки, бросаемые в сторону всего русского. Вера в убеждающую силу своего слова у Герцена постепенно иссякала. Наконец, в 1859 г., когда Герцен получил ряд посланий от некоего польского корреспондента, который, подобно множеству прочих, нападал на Россию да еще хотел видеть свои письма опубликованными в «Колоколе», Герцен, что называется, сорвался. «Все то, что ставится так дорого другим народам, — печатал он в «Колоколе» свою отповедь поляку, — России не было зачтено ни во что или, хуже, послужило ей же в обвинение <...>. Избавила ли Россия Европу от грубого солдатского гнета или заменила его другим — об этом может быть вопрос, но что Россия спасла Германию от французского ига — в этом нет никакого вопроса. <...> Что же вышло из этого? Полнейшая ненависть не к русскому правительству, — кто его ни ненавидел, — не к русскому вмешательству, а к русскому народу, ко всякому нашему успеху, ко всякому нашему человеческому порыву. Так и узнаешь в современных публицистах Германии изменившихся братьев ливонских рыцарей, не пропускавших в XVI ст. докторов в Россию» [126, т. 7, с. 183–184]. Патриотическое чувство Герцена было задето настолько глубоко, что он публично отказался печатать в «Колоколе» суждения польского корреспондента о России. «Я не напечатать вашего письма за тон, с которым вы говорите *о России и русских*, — заявлял Герцен. — Отрицайте все, что я утверждаю, отрицайте *новую силу*, входящую Россией в историю, разрушайте одну за другой наши надежды... что хотите, это будет мнение <...>. Но я не могу по совести допустить гуртовых обвинений, падающих на целый народ, ничего не доказывающих, кроме раздражения» [126, т. 7, с. 195].

Герцен отчетливо ощущал, что его пропаганда России не приносит ожидаемого результата, и переживал это очень болезненно. Несомненно, что в том числе и поэтому его работы о России, нацеленные на европейского читателя, со временем появлялись все реже и реже. Впрочем, этот вопрос достоин более подробного рассмотрения, и мы еще вернемся к нему. А пока завершим ту мысль, что Герцен, конечно, использовал европейскую литературную трибуну как оружие борьбы с самодержавием в России. Однако причины, побуждавшие его к этому, заключались не в чувстве личной неприязни к представителям российской власти, не в желании мести или реванша. Направление и род его деятельнос-

ти были обусловлены идеологическими соображениями, направленными на благо своего отечества, на создание в Европе объективного имиджа России. И не может быть сомнений, что эта идеологическая основа герценовской позиции постоянно подпитывалась крепнущим с годами чувством привязанности к родине.

Патриотизм Герцена оказался очевиден даже для его идеологических противников. В 1863 г. в газете «День» было помещено письмо из Парижа, принадлежащее некоему Касьянову, который линчевал Герцена и Бакунина за поддержку польского восстания. Между тем, Касьянов сообщал о Герцене: «Мне случалось его видеть вскоре после Восточной войны, и он рассказывал мне, какой мучительный год он прожил один в Англии, вдали от России, осажденной со всех сторон сильнейшим неприятелем; с каким лихорадочным трепетом брался он каждое утро за газеты, боясь прочесть в них известие о взятии Севастополя, как гордился его мужественной обороной» [45, кн. 20, с. 18]. Мы помним, что некоторые из единомышленников Герцена, например, Г. Н. Вырубов даже считали его пристрастие к России чрезмерным.

Но не станем выносить оценок. Мы лишь старались доказать, что хотя текст «ответной рецепции» и использовался Герценом как оружие против российского официоза, но причина создания этого текста заключалась в чувстве патриотизма, присущем автору, и в логически выстроенном и выверенном представлении о благе России.

В целом же мы, думается, должны остановиться на том заключении, что чувство привязанности к отечеству было одним из наиболее значимых стимулов, заставлявших российских литераторов вступать в межлитературный диалог с целью корректировки европейского имиджа России. Порою чувством патриотизма и стремлением к объективности (что случается зачастую и сегодня) прикрывались иные, менее благородные, побуждения: корыстолюбие, властолюбие, угодничество, ненависть к соотечественникам или желание мести — и все эти позы мы, несомненно, также должны отнести к числу мотивов создания текста «ответной рецепции». Но заметим и то, что читатель, как российский, так и европейский, как правило, умел отличать истинное чувство любви к родине, свойственное и внятное всякому здоровому сознанию, от тех интенций, которые подвергались общественному осуждению во все времена. «Подделка» патриотических чувств (хотя бы даже подозрение в «подделке») подрывала доверие пуб-

лики к тексту, искренность чувства — повышала цену текста «ответной рецепции», делала его убедительным. Такова формулировка вывода, следующего из анализа приведенных нами фактов; формулировать мораль мы не беремся.